

Духовная проза

«ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ...»

Пасхальная проза русских классиков



Духовная проза (Вече)

Владимир Набоков

«Воскресение и жизнь...».

**Пасхальная проза
русских классиков**

«ВЕЧЕ»

Набоков В. В.

«Воскресение и жизнь...». Пасхальная проза русских классиков /
В. В. Набоков — «ВЕЧЕ», — (Духовная проза (Вече))

ISBN 978-5-4484-8257-1

В сборник вошли произведения и отрывки из произведений Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.П. Чехова, И.А. Бунина, А.И. Куприна, Л.Н. Андреева, З.Н. Гиппиус, М.И. Цветаевой, В.В. Набокова и других. Читателю предлагается ознакомиться с лучшими образцами пасхальной прозы русской классической литературы, включая сюжетную художественную прозу, воспоминания, эссе.

ISBN 978-5-4484-8257-1

© Набоков В. В.

© ВЕЧЕ

Содержание

От издателя	6
Николай Васильевич Гоголь	7
Светлое Воскресенье	7
Федор Михайлович Достоевский	12
Мужик Марей	12
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин	15
Христова ночь	15
Константин Николаевич Леонтьев	19
Пасха на Афонской горе	19
Владимир Сергеевич Соловьёв	27
Воскресные письма	27
Владимир Галактионович Короленко	31
В ночь под Светлый праздник	31
Клавдия Владимировна Лукашевич	35
Мое милое детство	35
Конец ознакомительного фрагмента.	41

«Воскресение и жизнь...».
Пасхальная проза русских классиков
Составитель С.С. Лыжина

Допущено к распространению Издательским советом
Русской Православной Церкви
ИС Р18-803-0098

В оформлении обложки использована картина С.Д. Милорадовича

Знак информационной продукции **12+**

© Лыжина С.С., составление, вступительная статья, 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020

Сайт издательства www.veche.ru

От издателя

Пасхальная проза – одно из самых интересных и многообразных явлений календарной словесности, а ведь эта словесность сама по себе необычна.

Мы привыкли, что художественное слово открывает перед нами самостоятельные миры, никак не связанные с окружающей действительностью, но художественное слово календарной словесности действует наоборот. Оно призвано не затмить реальность для читателя, а дополнить ее, объединиться с ней и в итоге по-особому увлечь.

Это необычное переживание возникает и при знакомстве с пасхальной прозой. Неудивительно, что интерес к данному литературному направлению, никогда не исчезающий, возрастает с приближением того самого Праздника.

Наступает Пасха, и, значит, та весна, которую мы видим на улице, объединяется с той, о которой говорит нам автор, пусть даже строки были написаны в прошлом столетии или полтора столетия назад. Ночная церковная служба, возглас «Христос воскрес!»», пасхальная трапеза, колокольный звон, чириканье птиц, весеннее солнце, о которых мы читаем, перекликаются с впечатлениями из реальной жизни, даже если этих впечатлений немного.

Но не только внешние приметы Праздника ценны в пасхальном рассказе. В праздничные дни чувствуется потребность вспомнить о вечных истинах, о законах добра и милосердия. Ощущают эту потребность и авторы, поэтому пасхальная проза зачастую приобретает форму притчи, а иногда становится почти проповедью.

Мало кого удивляет, что такие проповеди остаются вне времени, как и сюжетная проза. Талантливая проповедь по прошествии лет не теряет силу воздействия, поэтому рассуждения Н. Гоголя или В. Соловьева о сути и значении праздника Пасхи кажутся актуальными даже сейчас.

Годы идут, а особая атмосфера, возникающая в ночь накануне Пасхи и в сам праздничный день, остается во многом неизменной, потому что современные люди, чувствуя радость, переживают это чувство так же, как люди в минувшие века. Вот почему воспоминания о пасхальной службе на Афоне, прошедшей в середине XIX века, могут быть восприняты не как историческое свидетельство, а как рассказ человека, почти современного нам.

В этом сборнике сделана попытка собрать русскую классическую пасхальную прозу всех возможных разновидностей, ведь за минувшие столетия русская литература накопила солидный багаж: здесь и сюжетное художественное повествование, и воспоминания, и эссе, и публицистика.

Пусть же накопленный опыт отечественной литературы, изображающей Пасху, объединится с опытом современных читателей и подарит им те необыкновенные впечатления, которые способна подарить только календарная словесность!

Николай Васильевич Гоголь **(1809–1852)**

Светлое Воскресенье **(Отрывок из «Выбранных мест из переписки с друзьями»)**

В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресенья. Он это чувствует живей, если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней – те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выражение на лицах, – он чувствует грусть и обращается невольно к России. Ему кажется, что там как-то лучше празднуется этот день, и сам человек радостней и лучше, нежели в другие дни, и самая жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему вдруг представятся – эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который как всю землю сливает в один гул, это восклицанье «Христос воскрес!», которое заменяет в этот день все другие приветствия, это поцелуй, который только раздается у нас, – и он готов почти воскликнуть: «Только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться!» Разумеется, все это мечта; она исчезнет вдруг, как только он перенесется на самом деле в Россию или даже только припомнит, что день этот есть день какой-то полусонной беготни и суеты, пустых визитов, умышленных незаставаний друг друга, наместо радостных встреч, – если ж и встреч, то основанных на самых корыстных расчетах; что честолюбие кипит у нас в этот день еще больше, чем во все другие, и говорят не о Воскресенье Христа, но о том, кому какая награда выйдет и кто что получит; что даже и сам народ, о котором идет слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный попадает на улицах, едва только успела кончиться торжественная обедня, и не успела еще заря осветить земли. Вздохнет бедный русский человек, если только все это припомнит себе и увидит, что это разве только карикатура и посмеянье над праздником, а самого праздника нет. Для проформы только какой-нибудь начальник чмокнет в щеку инвалида, желая показать подчиненным чиновникам, как нужно любить своего брата, да какой-нибудь отсталый патриот, в досаде на молодежь, которая бранит старинные русские наши обычаи, утверждая, что у нас ничего нет, прокричит гневно: «У нас все есть – и семейная жизнь, и семейные добродетели, и обычаи у нас соблюдаются свято; и долг свой исполняем мы так, как нигде в Европе; и народ мы на удивление всем».

Нет, не в видимых знаках дело, не в патриотических возгласах и не в поцелуе, данном инвалиду, но в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека, как на лучшую свою драгоценность, – так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал. Еще сильнее! еще больше! потому что узы, нас с ним связывающие, сильнее земного кровного нашего родства, и породнились мы с ним по нашему прекрасному Небесному Отцу, в несколько раз нам ближайшему нашего земного отца, и день этот мы – в своей истинной семье, у Него Самого в дому. День этот есть тот святой день, в который празднует святое, небесное свое братство все человечество до единого, не исключив из него ни одного человека.

Как бы этот день пришелся, казалось, кстати нашему девятнадцатому веку, когда мысли о счастье человечества сделались почти любимыми мыслями всех; когда обнять все человечество, как братьев, сделалось любимой мечтой молодого человека; когда многие только и грезят о том, как преобразовать все человечество, как возвысить внутреннее достоинство человека; когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христианство в силах

это произвести; когда стали утверждать, что следует ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт; когда стали даже поговаривать о том, чтобы все было общее – и дома и земли; когда подвиги сердоболия и помощи несчастным стали разговором даже модных гостиных; когда, наконец, стало тесно от всяких человеколюбивых заведений, странноприимных домов и приютов. Как бы, казалось, девятнадцатый век должен был радостно воспринимать этот день, который так по сердцу всем великодушным и человеколюбивым его движениям! Но на этом-то самом дне, как на пробном камне, видишь, как бледны все его христианские стремления и как все они в одних только мечтах и мыслях, а не в деле. И если, в самом деле, придется ему обнять в этот день своего брата, как брата – он его не обнимет. Все человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятие, один человек, его оскорбивший, которому повелевает Христос в ту же минуту простить, – он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, несогласный с ним в каких-нибудь ничтожных человеческих мненьях, – он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, страждущий видней других тяжелыми язвами своих душевных недостатков, больше всех других требующий сострадания к себе, – он оттолкнет его и не обнимет. И достанется его объятие только тем, которые ничем еще не оскорбили его, с которыми не имел он случая столкнуться, которых он никогда не знал и даже не видел в глаза. Вот какого рода объятие всему человечеству дает человек нынешнего века, и часто именно тот самый, который думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершенный христианин! Христианин! Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, вместо того, чтобы призвать Его к себе в дома, под родную крышу свою, и думают, что они христиане!

Нет, не воспринимать нынешнему веку Светлого праздника так, как ему следует восприниматься. Есть страшное препятствие, есть непреодолимое препятствие, имя ему – гордость. Она была известна и в прежние веки, но то была гордость более ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богатствами своими, гордость родом и званием, но не доходила она до того страшного духовного развития, в каком предстала теперь. Теперь явилась она в двух видах. Первый вид ее – гордость чистотой своей.

Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось в чистоту и красоту свою. Никто не стыдился хвастаться публично душевной красотой своей и считать себя лучшим других. Стоит только приглядеться, каким рыцарем благородства выступает из нас теперь всяк, как беспощадно и резко судит о другом. Стоит только прислушаться к тем оправданиям, какими он оправдывает себя в том, что не обнял своего брата даже в день Светлого Воскресенья. Без стыда и не дрогнув душой, говорит он: «Я не могу обнять этого человека: он мерзок, он подл душой, он запятнал себя бесчестнейшим поступком; я не пушу этого человека даже в переднюю свою; я даже не хочу дышать одним воздухом с ним; я сделаю крюк для того, чтобы объехать его и не встречаться с ним. Я не могу жить с подлыми и презренными людьми – неужели мне обнять такого человека как брата?» Увы! позабыл бедный человек девятнадцатого века, что в этот день нет ни подлых, ни презренных людей, но все люди – братья той же семьи, и всякому человеку имя брат, а не какое-либо другое. Все разом и вдруг им позабыто: позабыто, что, может быть, затем именно окружили его презренные и подлые люди, чтобы, взглянув на них, взглянул он на себя и поискал бы в себе того же самого, чего так испугался в других. Позабыто, что он сам может на всяком шагу, даже не приметив того сам, сделать то же подлое дело, хотя в другом только виде – в виде, не пораженном публичным позором, но которое, однако же, выражаясь пословицей, есть тот же блин, только на другом блюде. Все позабыто. Позабыто им то, что, может, оттого развелось так много подлых и презренных людей, что сурово и бесчеловечно их оттолкнули лучшие и прекраснейшие люди и тем заставили пуше ожесточиться. Будто бы легко выносить к себе презренье! Бог весть, может быть, иной совсем был не рожден бесчестным человеком; может быть, бедная душа его, бессильная сражаться с соблазнами, просила и молила о помощи и готова

была облобызать руки и ноги того, кто, подвигнутый жалостью душевной, поддержал бы ее на краю пропасти. Может быть, одной капли любви к нему было достаточно для того, чтобы вернуть его на прямой путь. Будто бы дорогой любви было трудно достигнуть к его сердцу! Будто уже до того окаменела в нем природа, что никакое чувство не могло в нем пошевелиться, когда и разбойник благодарен за любовь, когда и зверь помнит ласкавшую его руку! Но все позабыто человеком девятнадцатого века, и отталкивает он от себя брата, как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего. Ему нет дела до страданий его; ему бы только не видать гноя ран его. Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, чтобы не поразилось обонянье его смрадным дыханьем уст несчастного, гордый благоуханьем чистоты своей. Такому ли человеку воспринять праздник небесной Любви?

Есть другой вид гордости, еще сильнейший первого, – гордость ума. Никогда еще не возрастала она до такой силы, как в девятнадцатом веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. Все вынесет человек века: вынесет название плута, подлеца; какое хочешь дай ему название, он снесет его – и только не снесет название дурака. Над всем он позволит посмеяться – и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его для него – святыня. Из-за малейшей насмешки над умом своим он готов сию же минуту поставить своего брата на благородное расстояние и посадить, не дрогнувши, ему пулю в лоб. Ничему и ни во что он не верит; только верит в один ум свой. Чего не видит его ум, того для него нет. Он позабыл даже, что ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке, и стоит без движенья и даже идет назад, когда не возвышаются нравственные силы. Он позабыл и то, что нет всех сторон ума ни в одном человеке; что другой человек может видеть именно ту сторону вещи, которую он не может видеть, и, стало быть, знать того, чего он не может знать. Не верит он этому, и все, чего не видит он сам, то для него ложь. И тень христианского смиренья не может к нему прикоснуться из-за гордыни ума. Во всем он усумнится: в сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в Боге усумнится, но не усумнится в своем уме. Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей – нет, не чувственные страсти, но страсти ума уже начались: уже враждуют лично из несходства мнений, из-за противуречий в мире мысленном. Уже образовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных сношений еще не имевшие – и уже друг друга ненавидящие. Поразительно: в то время, когда уже было начали думать люди, что образованием выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир – дорогой ума – и на крыльях журнальных листов, как всепогубляющая саранча, нападает на сердце людей повсюду. Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинают говорить ложь противу собственного убеждения, из-за того только, чтобы не уступить противной партии, из-за того только, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке, – уже одна чистая злоба воцарилась наместо ума.

И человеку ли такого века уметь полюбить и почувствовать христианскую любовь к человеку? Ему ли исполниться того светлого простодушия и ангельского младенчества, которое собирает всех людей в одну семью? Ему ли услышать благоухание небесного братства нашего? Ему ли воспринять этот день? Исчезнуло даже и то наружно добродушное выражение прежних простых веков, которое давало вид, как будто бы человек был ближе к человеку. Гордый ум девятнадцатого века истребил его. Дьявол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим; глупейшие законы дает миру, какие доселе еще никогда не давались, – и мир это видит и не смеет послушаться. Что значит эта мода, ничтожная, незначущая, которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело, и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что есть главного и лучшего в человеке? Никто не боится преступать несколько раз в день

первейшие и священнейшие законы Христа и между тем боится не исполнить ее малейшего приказанья, дрожа перед нею, как робкий мальчишка. Что значит, что даже и те, которые сами над нею смеются, пляшут, как легкие ветреники, под ее дудку? Что значат эти так называемые бесчисленные приличия, которые стали сильнее всяких коренных постановлений? Что значат эти странные власти, образовавшиеся мимо законных, – посторонние, побочные влияния? Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а Божии помазанники остались в стороне? Люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мненьями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые, видимо, в виду всех чертит исходящая снизу нечистая сила, – и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над человечеством! И к чему при таком ходе вещей сохранять еще наружные святые обычаи Церкви, небесный Хозяин которой не имеет над ними власти? Или это еще новая насмешка духа тьмы? Зачем этот утративший значение праздник? Зачем он вновь приходит глуше и глуше скликать в одну семью разошедшихся людей и, грустно окинувши всех, уходит как незнакомый и чужой всем? Всем ли точно он незнаком и чужд? Но зачем же еще уцелели кое-где люди, которым кажется, как бы они светлеют в этот день и празднуют свое младенчество – то младенчество, от которого небесное лобзанье, как бы лобзанье вечной весны, изливается на душу, то прекрасное младенчество, которое утратил гордый нынешний человек? Зачем еще не позабыл человек навеки это младенчество и, как бы виденное в каком-то отдаленном сне, оно еще шевелит нашу душу? Зачем все это и к чему это? Будто не известно зачем? Будто не видно к чему? Затем, чтобы хотя некоторым, еще слышащим весеннее дыхание этого праздника, сделалось бы вдруг так грустно, так грустно, как грустно ангелу на Небе. И, завопив раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам своих братьев, умоляя хотя бы один этот день вырвать из ряду других дней, один бы день только провести не в обычаях девятнадцатого века, но в обычаях Вечного Века, в один бы день только обнять и обхватить человека, как виноватый друг обнимает великодушного, все ему простившего друга, хотя бы только затем, чтобы завтра же оттолкнуть его от себя и сказать ему, что он нам чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать так, хотя бы только насильно заставить себя это сделать, ухватиться бы за этот день, как утопающий хватается за доску! Бог весть, может быть, за одно это желанье уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая взлететь по ней.

Но и одного дня не хочет провести так человек девятнадцатого века! И непонятной тоской уже загорелась земля; черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!

Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется, как следует, и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова: «Христос воскрес!» – и поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гудят и гудят по всей земле, точно как бы будят нас? Где носятся так очевидно призраки, там недаром носятся; где будят, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено Самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее – и праздник Светлого Воскресенья воспразднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов! На чем же основываясь, на каких данных, заключенных в сердцах наших, опираясь, можем сказать это?

Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» – вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней. Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа, – доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой Его слово, что есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреодолимое к соединению людей и братской любви между ними, что есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная, и если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли дома свои и земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды – все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия – один человек. Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник Воскресенья Христова воспряднуется прежде у нас, чем у других. И твердо говорит мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушеньем Божиим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих на разных концах земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспряднуется Светлое Воскресенье Христово!»

Впервые опубликовано самостоятельным изданием в 1847 году

Федор Михайлович Достоевский (1821–1881)

Мужик Марей (Из «Дневника писателя», 1876 год)

Но все эти professions de foi¹, я думаю, очень скучно читать, а потому расскажу один анекдот, впрочем, даже и не анекдот; так, одно лишь далекое воспоминание, которое мне почему-то очень хочется рассказать именно здесь и теперь, в заключение нашего трактата о народе. Мне было тогда всего лишь девять лет от роду... но нет, лучше я начну с того, когда мне было двадцать девять лет от роду².

Был второй день Светлого праздника. В воздухе было тепло, небо голубое, солнце высокое, «теплое», яркое, но в душе моей было очень мрачно. Я скитался за казармами, смотрел, отсчитывая их, на пали³ крепкого острожного тына, но и считать мне их не хотелось, хотя было в привычку. Другой уже день по острогу «шел праздник»; каторжных на работу не выводили, пьяных было множество, ругательства, ссоры начинались поминутно во всех углах. Безобразные, гадкие песни, майданы с картежной игрой под нарами, несколько уже избитых до полусмерти каторжных, за особое буйство, собственным судом товарищей и прикрытых на нарах тулупами, пока оживут и очнутся; несколько раз уже обнажавшиеся ножи, – все это, в два дня праздника, до болезни истерзало меня. Да и никогда не мог я вынести без отвращения пьяного народного разгула, а тут, в этом месте, особенно. В эти дни даже начальство в острог не заглядывало, не делало обысков, не искало вина, понимая, что надо же дать погулять, раз в год, даже и этим отверженцам и что иначе было бы хуже. Наконец в сердце моем загорелась злоба. Мне встретился поляк М-цкий, из политических; он мрачно посмотрел на меня, глаза его сверкнули и губы затряслись: «Je hais ces brigands!»⁴ – проскрежетал он мне вполголоса и прошел мимо. Я воротился в казарму, несмотря на то, что четверть часа тому выбежал из нее как полоумный, когда шесть человек здоровых мужиков бросились, все разом, на пьяного татарина Газина усмирять его и стали его бить; били они его нелепо, верблюда можно было убить такими побоями; но знали, что этого Геркулеса трудно убить, а потому били без опаски. Теперь, воротясь, я заметил в конце казармы, на нарах в углу, бесчувственного уже Газина почти без признаков жизни; он лежал прикрытый тулупом, и его все обходили молча: хоть и твердо надеялись, что завтра к утру очнется, «но с таких побоев, не ровен час, пожалуй, что и помрет человек». Я пробрался на свое место, против окна с железной решеткой, и лег навзничь, закинув руки за голову и закрыв глаза. Я любил так лежать: к спящему не пристанут, а меж тем можно мечтать и думать. Но мне не мечталось; сердце билось беспокойно, а в ушах звучали слова М-цкого: «Je hais ces brigands!» Впрочем, что же описывать впечатления; мне и теперь иногда снится это время по ночам, и у меня нет снов мучительнее. Может быть, заметят и то, что до сегодня я почти ни разу не заговаривал печатно о моей жизни в каторге; «Записки же из Мертвого дома» написал, пятнадцать лет назад, от лица вымышленного, от преступника,

¹ Исповедание веры (*фр.*).

² Начало 1850-х годов, когда Ф.М. Достоевский, отправленный на каторгу за участие в кружке петрашевцев, сидел в остроге.

³ Паль – бревно, кол.

⁴ «Ненавижу этих разбойников!» (*фр.*)

будто бы убившего свою жену. Кстати, прибавлю как подробность, что с тех пор про меня очень многие думают и утверждают даже и теперь, что я сослан был за убийство жены моей.

Мало-помалу я и впрямь забылся и неприметно погрузился в воспоминания. Во все мои четыре года каторги я вспоминал беспрерывно все мое прошедшее и, кажется, в воспоминаниях пережил всю мою прежнюю жизнь снова. Эти воспоминания вставали сами, я редко вызывал их по своей воле. Начиналось с какой-нибудь точки, черты, иногда неприметной, и потом мало-помалу вырастало в цельную картину, в какое-нибудь сильное и цельное впечатление. Я анализировал эти впечатления, придавал новые черты уже давно прожитому, а главное, поправлял его, поправлял беспрерывно, в этом состояла вся забава моя. На этот раз мне вдруг припомнилось почему-то одно незаметное мгновение из моего первого детства, когда мне было всего девять лет от роду, – мгновение, казалось бы, мною совершенно забытое; но я особенно любил тогда воспоминания из самого первого моего детства. Мне припомнился август месяц в нашей деревне: день сухой и ясный, но несколько холодный и ветреный; лето на исходе, и скоро надо ехать в Москву опять скучать всю зиму за французскими уроками, и мне так жалко покидать деревню. Я прошел за гумна и, спустившись в овраг, поднялся в Лоск – так назывался у нас густой кустарник по ту сторону оврага до самой рощи. И вот я забился гуще в кусты и слышу, как недалеко, шагах в тридцати, на поляне, одиноко пашет мужик. Я знаю, что он пашет круто в гору и лошадь идет трудно, а до меня изредка долетает его окрик: «Ну-ну!» Я почти всех наших мужиков знаю, но не знаю, который это теперь пашет, да мне и все равно, я весь погружен в мое дело, я тоже занят: я выламываю себе ореховый хлыст, чтоб стегать им лягушек; хлысты из орешника так красивы и так непрочны, куда против березовых. Занимают меня тоже букашки и жучки, я их собираю, есть очень нарядные; люблю я тоже маленьких, проворных, красно-желтых ящериц, с черными пятнышками, но змеек боюсь. Впрочем, змейки попадаются гораздо реже ящериц. Грибов тут мало; за грибами надо идти в березняк, я и собираюсь отправиться. И ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ежиками и белками, с его столь любимым мною сырым запахом перетлевших листьев. И теперь даже, когда я пишу это, мне так и послышался запах нашего деревенского березняка: впечатления эти остаются на всю жизнь. Вдруг, среди глубокой тишины, я ясно и отчетливо услышал крик: «Волк бежит!» Я вскрикнул и вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика.

Это был наш мужик Марей. Не знаю, есть ли такое имя, но его все звали Мареем, – мужик лет пятидесяти, плотный, довольно рослый, с сильною проседью в темно-русой окладистой бороде. Я знал его, но до того никогда почти не случалось мне заговорить с ним. Он даже остановил кобыленку, слышав крик мой, и когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его соху, а другою за его рукав, то он разглядел мой испуг.

– Волк бежит! – прокричал я, задыхаясь. Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на мгновенье почти мне поверив.

– Где волк?

– Закричал... Кто-то закричал сейчас: «Волк бежит»... – пролепетал я.

– Что ты, что ты, какой волк, померещилось, вишь! Какому тут волку быть! – бормотал он, ободряя меня. Но я весь трясся и еще крепче уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел на меня с беспокойною улыбкою, видимо боясь и тревожась за меня.

– Ишь ведь испужался, ай-ай! – качал он головой. – Полно, родной. Ишь малец, ай!

Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке.

– Ну, полно же, ну, Христос с тобой, октись.

Но я не крестился; углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с черным ногтем, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивавших моих губ.

– Ишь ведь, ай, – улыбнулся он мне какою-то материнскою и длинною улыбкой. – Господи, да что это, ишь ведь, ай, ай!

Я понял наконец, что волка нет и что мне крик: «Волк бежит» – померещился. Крик был, впрочем, такой ясный и отчетливый, но такие крики (не об одних волках) мне уже раз или два и прежде мерещились, и я знал про то. (Потом, с детством, эти галлюцинации прошли.)

– Ну, я пойду, – сказал я, вопросительно и робко смотря на него.

– Ну и ступай, а я те вослед посмотрю. Уж я тебя волку не дам! – прибавил он, все так же матерински мне улыбаясь. – Ну, Христос с тобой, ну ступай, – и он перекрестил меня рукой и сам перекрестился. Я пошел, оглядываясь назад почти каждые десять шагов. Марей, пока я шел, все стоял со своей кобыленкой и смотрел мне вслед, каждый раз кивая мне головой, когда я оглядывался. Мне, признаться, было немножко перед ним стыдно, что я так испугался, но шел я, все еще очень побаиваясь волка, пока не поднялся на косогор оврага, до первой риги; тут испуг соскочил совсем, и вдруг откуда ни возьмись бросилась ко мне наша дворовая собака Волчок. С Волчком-то я уж вполне ободрился и обернулся в последний раз к Марее; лица его я уже не мог разглядеть ясно, но чувствовал, что он все точно так же мне ласково улыбается и кивает головой. Я махнул ему рукой, он махнул мне тоже и тронул кобыленку.

– Ну-ну! – послышался опять отдаленный окрик его, и кобыленка потянула опять свою соху.

Все это мне разом припомнилось, не знаю почему, но с удивительною точностью в подробностях. Я вдруг очнулся и присел на нарах и, помню, еще застал на лице моем тихую улыбку воспоминания. С минуту еще я продолжал припоминать.

Я тогда, придя домой от Марей, никому не рассказал о моем «приключении». Да и какое это было приключение? Да и об Марее я тогда очень скоро забыл. Встречаясь с ним потом изредка, я никогда даже с ним не заговаривал, не только про волка, да и ни об чем, и вдруг теперь, двадцать лет спустя, в Сибири, припомнил всю эту встречу с такою ясностью, до самой последней черты. Значит, залегла же она в душе моей неприметно, сама собой и без воли моей, и вдруг припомнилась тогда, когда было надо; припомнилась эта нежная, материнская улыбка бедного крепостного мужика, его кресты, его покачиванье головой: «Ишь ведь, испужался, малец!» И особенно этот толстый его, запачканный в земле палец, которым он тихо и с робкою нежностью прикоснулся к вздрагивавшим губам моим. Конечно, всякий бы ободрил ребенка, но тут в этой уединенной встрече случилось как бы что-то совсем другое, и если б я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлую любовью взглядом, а кто его заставлял? Был он собственный крепостной наш мужик, а я все же его барчонок; никто бы не узнал, как он ласкал меня, и не наградил за то. Любил он, что ли, так уж очень маленьких детей? Такие бывают. Встреча была уединенная, в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством и какою тонкою, почти женственною нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика, еще и не ждавшего, не гадавшего тогда о своей свободе. Скажите, не это ли разумел Константин Аксаков, говоря про высокое образование народа нашего?

И вот, когда я сошел с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом и что вдруг, каким-то чудом, исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь во встречавшиеся лица. Этот обритый и шельмованный мужик, с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце. Встретил я в тот же вечер еще раз и М-цкого. Несчастный! У него-то уж не могло быть воспоминаний ни об каких Марейях и никакого другого взгляда на этих людей, кроме «Je hais ces brigands!» Нет, эти поляки вынесли тогда более нашего!

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889)

Христова ночь (Предание)

Равнина еще цепенеет, но среди глубокого безмолвия ночи под снежною пеленою уже слышится говор пробуждающихся ручьев. В оврагах и ложбинах этот говор принимает размеры глухого гула и предостерегает путника, что дорога в этом месте изрыта зазорами. Но лес еще молчит, придавленный инеем, словно сказочный богатырь железною шапкою. Темное небо сплошь усыпано звездами, льющими на землю холодный и трепещущий свет. В обманчивом его мерцании мелькают траурные точки деревень, утонувших в сугробах. Печать сиротливости, заброшенности и убожества легла и на застывшую равнину, и на безмолвствующий проселок. Все сковано, беспомощно и безмолвно, словно задавлено невидимой, но грозной кабалой.

Но вот в одном конце равнины раздалось гудение полночного колокола; навстречу ему, с противоположного конца, понеслось другое, за ним – третье, четвертое. На темном фоне ночи вырезались горящие шпили церквей, и окрестность вдруг ожила. По дороге потянулись вереницы деревенского люда. Впереди шли люди серые, замученные жизнью и нищетою, люди с истерзанными сердцами и с поникшими долу головами. Они несли в храм свое смирение и свои воздыхания; это было все, что они могли дать воскресшему Богу. За ними, поодаль, следовали в праздничных одеждах деревенские богатеи, кулаки и прочие властелины деревни. Они весело гуторили меж собою и несли в храм свои мечтания о предстоящем недельном ликовании. Но скоро толпы народные утонули в глубине проселка; замер в воздухе последний удар призывного благовеста, и все опять торжественно смолкло.

Глубокая тайна почуялась в этом внезапном перерыве начавшегося движения, – как будто за наступившим молчанием надвигалось чудо, долженствующее вдохнуть жизнь и возрождение. И точно: не успел еще заалеть восток, как желанное чудо совершилось. Воскрес поруганный и распятый Бог! воскрес Бог, к Которому искони огорченные и негодующие сердца вопиют: «Господи, поспешай!»

Воскрес Бог и наполнил Собой вселенную. Широкая степь встала навстречу ему всеми своими снегами и буранами. За степью потянулся могучий лес и тоже почуял приближение Воскресшего. Подняли матерые ели к небу мохнатые лапы; заскрипели вершинами столетние сосны; загудели овраги и реки; выбежали из нор и берлог звери, вылетели птицы из гнезд; все почуяли, что из глубины грядет нечто светлое, сильное, источающее свет и тепло, и все вопияли: «Господи! Ты ли?»

Господь благословил землю и воды, зверей и птиц и сказал им:

– Мир вам! Я принес вам весну, тепло и свет. Я сниму с рек ледяные оковы, одену степь зеленою пеленою, наполню лес пением и благоуханиями. Я напитаю и напою птиц и зверей и наполню природу ликованием. Пускай законы ее будут легки для вас; пускай она для каждой былинки, для каждого чуть заметного насекомого начертит круг, в котором они останутся верными прирожденному назначению. Вы не судимы, ибо выполняете лишь то, что вам дано от начала веков. Человек ведет непрестанную борьбу с природой, проникая в ее тайны и не предвидя конца своей работе. Ему необходимы эти тайны, потому что они составляют неизбежное условие его благоденствия и преуспевания. Но природа сама себе довлеет, и в этом ее преимущество. Нет нужды, что человек мало-помалу проникает в ее недра – он покоряет себе только атомы, а природа продолжает стоять перед ним в своей первобытной неприступности

и подавляет его своим могуществом. Мир вам, степи и леса, звери и пернатые! и да согреют и оживят вас лучи Моего Воскресения!

Благословивши природу, Воскресший обратился к людям. Первыми вышли навстречу к Нему люди плачущие, согбенные под игом работы и загубленные нуждою. И когда Он сказал им: «Мир вам!» – то они наполнили воздух рыданиями и пали ниц, молчаливо прося об избавлении.

И сердце Воскресшего вновь затуманилось тою великою и смертельною скорбью, которою оно до краев переполнилось в Гефсиманском саду, в ожидании чаши, Ему уготованной. Все это многострадальное воинство, которое пало перед Ним, несло бремя жизни имени Его ради; все они первые приклонили ухо к Его слову и навсегда запечатлели его в сердцах своих. Всех их Он видел с высот Голгофы, как они метались вдаль, окутанные сетями рабства, и всех Он благословил, совершая Свой крестный путь, всем обещал освобождение. И все они с тех пор жаждут Его и рвутся к Нему. Все с беззаветною верою простирают к Нему руки: «Господи! Ты ли?»

– Да, это Я, – сказал Он им. – Я разорвал узы смерти, чтобы прийти к вам, слуги Мои верные, сострадальцы Мои дорогие! Я всегда и на всяком месте с вами, и везде, где пролита ваша кровь, – тут же пролита и Моя кровь вместе с вашею. Вы чистыми сердцами беззаветно уверовали в Меня, потому только, что проповедь Моя заключает в себе правду, без которой вселенная представляет собой вместилище погубления и ад крошечный. Люби Бога и люби ближнего, как самого себя – вот эта правда, во всей ее ясности и простоте, и она наиболее доступна не богословам и начетчикам, а именно вам, простым и удрученным сердцам. Вы верите в эту правду и ждете ее пришествия. Летом, под лучами знойного солнца, за сохою, вы служите ей; зимой, длинными вечерами, при свете дымящейся лучины, за скудным ужином, вы учите ей детей ваших. Как ни кратка она сама по себе, но для вас в ней замыкается весь смысл жизни и никогда не иссякающий источник новых и новых собеседований. С этой правдой вы встаете утром, с нею ложитесь на сон грядущий и ее же приносите на алтарь Мой в виде слез и воздыханий, которые слаще аромата кадильного растворяют сердце Мое. Знайте же: хотя никто не провидит вперед, когда пробьет ваш час, но он уже приближается. Пробьет этот желанный час, и явится свет, которого не победит тьма. И вы свергнете с себя иго тоски, горя и нужды, которое удручает вас. Подтверждаю вам это, и как некогда с высот Голгофы благословлял вас на стяжание душ ваших, так и теперь благословляю на новую жизнь в царстве света, добра и правды. Да не уклонятся сердца ваши в словеса лукавствия, да пребудут они чисты и просты, как доднесь, а слово Мое да будет истина. Мир вам!

Воскресший пошел далее и встретил на пути своем иных людей. Тут были и богатеи, и мироеды, и жестокие правители, и тати, и душегубцы, и лицемеры, и ханжи, и неправедные судьи. Все они шли с сердцами, преисполненными праха, и весело разговаривали, встречая не Воскресение, а грядущую праздничную суету. Но и они остановились в смятении, почувствовав приближение Воскресшего.

Он также остановился перед ними и сказал:

– Вы – люди века сего и духом века своего руководитесь. Стяжание и любоначалие – вот двигатели ваших действий. Зло наполнило все содержание вашей жизни, но вы так легко несете иго зла, что ни единый скрупул вашей совести не дрогнул перед будущим, которое готовит вам это иго. Все окружающее вас представляется как бы призванным служить вам. Но не потому овладели вы вселенною, что сильны сами по себе, а потому, что сила унаследована вами от предков. С тех пор вы со всех сторон защищены, и сильные мира считают вас присными. С тех пор вы идете с огнем и мечом вперед и вперед; вы крадете и убиваете, безнаказанно изрыгая хулу на законы Божеские и человеческие, и тщеславитесь, что таково искони унаследованное вами право. Но говорю вам: придет время – и недалеко оно, – когда мечтания ваши рассеются в прах. Слабые также познают свою силу; вы же узнаете свое ничтожество перед этою силой.

Предвидели ли вы когда-нибудь этот грозный час? смущало ли вас это предвидение за себя и за детей ваших?

Грешники безмолвствовали на этот вопрос. Они стояли, потупив взоры и как бы ожидая еще горшего. Тогда Воскресший продолжал:

– Но во имя Моего Воскресения я и перед вами открываю путь к спасению. Этот путь – суд вашей собственной совести. Она раскроет перед вами ваше прошлое во всей его наготе; она вызовет тени погубленных вами и поставит их на страже у изголовий ваших. Скрежет зубовный наполнит дома ваши; жены не познают мужей, дети – отцов. Но когда сердца ваши засохнут от скорби и тоски, когда ваша совесть переполнится, как чаша, не могущая вместить переполняющей ее горечи, – тогда тени погубленных примирятся с вами и откроют вам путь к спасению. И не будет тогда ни татей, ни душегубцев, ни мздоимцев, ни ханжей, ни неправедных властителей, и все одинаково возвеселятся за общую трапезой в обители Моей. Идите же и знайте, что слово Мое – истина!

В эту самую минуту восток заалел, и в редящем сумраке леса выступила безобразная человеческая масса, качающаяся на осине. Голова повесившегося, почти оторванная от туловища, свесилась книзу; вороны уже выклевали у нее глаза и выели щеки. Самое туловище было по местам обнажено от одежд и, зияя гнойными ранами, размахивало по ветру руками. Стая хищных птиц кружилась над телом, а более смелые бесстрашно продолжали дело разрушения.

То было тело предателя, который сам совершил суд над собой.

Все предстоявшие с ужасом и отвращением отвернулись от представившегося зрелища; взор Воскресшего воспылал гневом.

– О предатель! – сказал Он. – Ты думал, что вольною смертью избавился от давившей тебя измены; ты скоро сознал свой позор и поспешил окончить расчеты с постыдною жизнью. Преступление так ясно выступило перед тобой, что ты с ужасом отступил перед общим презрением и предпочел ему душевное погубление. «Единый миг, – сказал ты себе, – и душа моя погрузится в безрассветный мрак, а сердце перестанет быть доступным угрызениям совести». Но да не будет так. Сойди с дерева, предатель! да возвратятся тебе выклеванные очи твои, да закроются гнойные раны и да восстановится позорный твой облик в том же виде, в каком он был в ту минуту, когда ты лобзал Предаваемого тобой. Живи!

По этому слову, перед глазами у всех, предатель сошел с дерева и пал на землю перед Воскресшим, моля Его о возвращении смерти.

– Я всем указал путь к спасению, – продолжал Воскресший, – но для тебя, предатель, он закрыт навсегда. Ты проклят Богом и людьми, проклят на веки веков. Ты не убил друга, раскрывшего перед тобой душу, а застиг его врасплох и предал на казнь и поругание. За это Я осуждаю тебя на жизнь. Ты будешь ходить из града в град, из веси в весь и нигде не найдешь крова, который бы приютил тебя. Ты будешь стучаться в двери – и никто не отворит их тебе; ты будешь умолять о хлебе – и тебе подадут камень; ты будешь жаждать – и тебе подадут сосуд, наполненный кровью Преданного тобой. Ты будешь плакать, и слезы твои превратятся в потоки огненные, будут жечь твои щеки и покрывать их струпами. Камни, по которым ты пойдешь, будут вопиять: «Предатель! будь проклят!» Люди на торжищах расступятся перед тобой, и на всех лицах ты прочтешь: «Предатель! будь проклят!» Ты будешь искать смерти и на суше, и на водах – и везде смерть отвратится от тебя и прошипит: «Предатель! будь проклят!» Мало того: на время судьба сжалится над тобою, ты обретешь друга и предашь его, и этот друг из глубины темницы возопит к тебе: «Предатель! будь проклят!» Ты получишь способность творить добро, но добро это отравит души благодетельствованных тобой. «Будь проклят, предатель! – возопиют они. – Будь проклят и ты, и все дела твои!» И будешь ты ходить из века в век с неусыпающим червем в сердце, с погубленною душою. Живи, проклятый! и будь для грядущих поколений свидетельством той бесконечной казни, которая ожидает предательство. Встань, возьми, вместо посоха, древесный сук, на котором ты чаял найти смерть, – и иди!

И едва замерло в воздухе слово Воскресшего, как предатель встал с земли, взял свой посох, и скоро шаги его смолкли в той необъятной, загадочной дали, где его ждала жизнь из века в век. И ходит он доднесь по земле, рассеивая смуту, измену и рознь.

1886 год

Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891)

Пасха на Афонской горе

I

Непостижимый для непривычного, хотя бы даже и верующего человека, аскетизм большинства греческих и русских обителей на Святой Горе в течение Великого поста доходит до того, что становится в иные минуты страшно о нем и подумать!

Церковные службы и в обыкновенное время, по нашему мирскому суду, слишком долгие и слишком частые, во время поста наполняют почти весь день и всю ночь; ограничение в пище доводится до самого крайнего предела. В иные дни, на первой неделе, например, и на Страстной (по-гречески – на Великой неделе), только певчим дается по ломтю хлеба, не помню, раз или два в день, чтобы они были в силах петь.

«Травки и травки» монашеской трапезы, которые так ужасали г. Благовещенского (написавшего, несмотря на всю реалистическую нищету своего мировоззрения, об Афоне много невольной правды, весьма лестной для его обителей), – эти «травки», истинно ужасные «травки», вступают в течение тяжких семи недель в полные права свои.

В это время все на Афоне становятся, волей и неволей, высокими подвижниками духовными и телесными. Тот, кому это полегче, не должен гордиться, а должен смиряться перед высшею «благодатью» подобного облегчения; тот, кому это очень трудно, больно и скучно, должен помнить, что эта боль и эта скука, это состояние почти ежеминутного несносного понуждения оно-то и есть настоящее монашество, то есть добровольное хроническое мученичество во славу Божию. Облегчение же долгой и постепенной телесной привычки и внезапные восторги душевного умиления – это не от нас. Это награда свыше за подвиг или поддержка слабому и унылому за доброе изволение понудить себя и покориться. Все приятное и утешительное не от нас, а от Бога; от нас все принудительное, самоограничивающее, то есть скучное... даже и на молитве. Такова философия истинного аскетизма.

И мирянин, живущий долго на Афоне, может пережить, хотя и не вполне, а лишь отрывками, все те разнообразные минуты скорби и отрады, которых глубокое и необычайно тонкое сплетение составляет науку монашеской жизни, «науку из наук», как говорят учителя-аскеты.

Греки при начале Великого поста нередко приветствуют друг друга так: «Желаю тебе благополучно преплыть Четыредесятницы великое море!...»

Истинно великое море! Море голода и уныния, море усталости и насильственной молитвы, от которой, однако, сама совесть, сама личная воля не позволит отказаться без крайнего изнеможения! И сколько невидимых «камней» духовного преткновения! Над церковью в Руссике⁵ есть хоры; за хорами этими две небольших кельи; в кельях этих нет ничего, кроме аналоя с крестом и Евангелием и одного кресла для отдыха духовнику. Кельи эти дверями выходят в коридор, а на хоры – окнами, заклеенными тонкой и темной материей, сквозь которую слышно все богослужение бесконечного, истинно всенощного бдения (оно продолжается иногда 13–14 часов!). Посмотрите, как теснятся в коридоре у дверей этих келий скорбящие

⁵ Руссик – монастырь Св. Пантелеймона на Афоне, во второй половине XIX века по составу насельников ставший русским.

монахи всех возрастов и всяких степеней духовного опыта! Они ждут не дождутся очереди излить души свои перед старцами!

Они пришли сюда признаваться в самых тонких «искушениях», открывать самые затаенные «помыслы»; или выразить свое отчаяние, если телесный подвиг поста тому или другому из них не по силам; быть может, даже сознаться в минутном раскаянии, что стал монахом, в преходящем, но мучительном порицании монашества и сурового устава святогорских кинувий. Или еще в худшем – в гневе и ропоте на самого этого старца за его требования. Именно на это-то и ответят им с любовью великого опыта, и посмеются немного, и расскажут что-нибудь подобное или из своей прошлой жизни, или из преданий.

Но вот близится к концу своему плавание по «великому и бурному морю» глубокой, разнообразной и таинственной борьбы могучего духа с бессильной и многострастной плотью.

Настает «Великая неделя» страданий.

И в честь Христа, во славу Божию человеческие усилия становятся еще более жестокими... Службы церковные еще длиннее и непрерывнее, пища еще ограниченнее, время сна и роздыха еще короче. Нравственные требования аскетически настроенной совести еще неумолимее! И тут-то с особенной ясностью и случается видеть, как может действовать сильная вера и аскетическая выработка на изможденную плоть!

Нас, мирян-поклонников, на Святой Горе было тогда (в [18] 71-м году) довольно много; были крестьяне, купцы, были священники из России; было двое-трое дворян, было двое юношей издалека: молдаван с Дуная и грек из Эпира; соседних болгар, работавших по разным обителям, собиралось много в Русике на большие службы Страстной недели. И все эти миряне охотно, но, конечно, болезненно несли великопостные тяготы.

В Великую пятницу в соборном всенощном служении участвовал и старший русский духовник о. Иероним. Я жил уже давно на Афоне и ни разу не видал его служащим. Он и тогда уже был очень слаб, страдал опасными и тяжкими недугами, не раз, к ужасу всей братии, приближавшими его к могиле; ел очень мало и целые дни и ночи был занят выслушиванием «откровений»⁶, хозяйством монастыря, чтением духовных и даже светских серьезных книг, чтобы быть на уровне современных понятий, и, сверх всего этого бремени, он не мог, как влиятельный человек и духовный начальник в единственном русском монастыре, имеющем представителя в святогорском Протате (Синоде), устранившись вполне и от некоторого невольного участия в международных вопросах и движениях, отражающихся на Святой Горе неизбежно, вследствие общей запутанности дел Турецкой империи. Волей-неволей, нередко вследствие внешних давлений, о. Иерониму приходилось не быть ничему чуждым, ибо он был незаменим, и в глазах всей русской братии, начиная с архимандрита – покорного ему постриженника и сына, и в глазах поклонников, и во мнении посольства нашего, консулов и даже многих единоверцев наших на Афоне: греков, болгар и румын. Когда же ему оставалось время для богослужения и где же было взять для этого в обыкновенные дни телесных сил?

Но в эти великие дни искупительных страданий мощный дух великого старца побеждал изнемогающую плоть. В Великую пятницу мы видели о. Иеронима служащим.

Мы все удивились; мы восхищались внезапно проявившеюся в нем бодростью телесной; он вдруг помолодел, как будто вырос: на красивом, поразительно строгом, необычайно выразительном и твердом лице несказанно чтимого и любимого нами пастыря светило нечто особое – торжественное, тихое, серьезное.

Как он твердо теперь ходил по храму! Как он внимательно и не спеша кадил каждой кучке бедных болгарских рабочих, и зато с какой благодарной почтительностью они склоня-

⁶ «Откровением» называется искреннее сообщение даже тончайших помыслов своих старцу без разрешительных действий таинства покаяния. Это простая, но полнейшая откровенность послушника с духовным руководителем своим, старцем. Поэтому-то старцем может быть и монах, не имеющий иерейского сана. (Примеч. автора.)

лись перед ним! Один из поклонников, отставной воин, родом литвин, заметил, что при всей телесной слабости своей о. Иероним еще гораздо внимательнее других иеромонахов кадил этим смиренным людям с бритыми головами в старых куртках и шальварах.

Чтоб не находить все это «очень простым» и «очень легким», как готовы найти очень многие, я советую только вспомнить, как иной раз тяготят нас телесно условия самого краткого и самого «льготного», так сказать, городского «говения» нашего: постная пища в течение одной недели, слушание так называемого правила, теснота в церкви, голод и усталость в утро причащения. Я советую вспомнить этот пример нашего ничтожного светского воздержания: эту легкую дань, которую мы не всегда без душевной борьбы и без «искушений» ропота платим раз или много два в год «умерщвлению плоти», так или иначе немощной, то есть немощной по недугам и возрасту, или еще более в христианском смысле немощной – по нетерпению юности, по многострастности крепкого здоровья. Советую при этом же вспомнить и радость свою, когда все эти мелкие душевные и телесные препоны благополучно пройдены, когда «жертва» уже принесена, когда мы можем весело отдохнуть, разговеться и возвратиться к привычному образу жизни нашей. Если мы это в городах так сильно чувствуем, то что же может человек ощущать в день Пасхи на Афоне, где все относится к Богу – и скорбь, и радость, и пост, и разрешительный праздник! В это время на Святой Горе уже давно весна; наверху, на гребне горы, в лесах уже давно стаял снег, и те кусты и деревья, которые и на юге зимой теряют листья, начинают одеваться и зеленеть. Расцветают давно уже иные весенние цветы.

Место, где стоит старый Руссик у моря, не из красивых мест на Афоне. Окрестности многих других обителей гораздо живописнее и привлекательнее. Обширный монастырь (весь белый, с зеленым куполом и крышами), неправильно, туда и сюда, вниз и вверх, не в одно время и не сразу построенный, живописен этой самой неправильностью; но архитектурных достоинств имеет гораздо меньше, чем некоторые греческие монастыри и особенно чем превосходный болгарский Зограф.

Перед монастырем море, нередко очень унылое и загражденное на горизонте длинной, однообразно синей полосой полуострова Кассандры. За монастырем, почти вплоть у окон задних корпусов, большая гора, сплошь покрытая не лесом густым и красивым, а кустарником низким и частым, который летом наводит уныние однообразием и неподвижностью своей темной зелени, неприятно блестящей под лучами постоянно палящего солнца.

Но именно Великим постом и перед Пасхой эта гора мало-помалу начинает пестреть и становится веселой и прекрасной, как богатый расписной ковер.

Сплошной и низменный кустарник ее на короткое время весь убирается цветами белыми, розовыми, желтыми. Между этими красивыми, яркими пятнами видны другие оттенки, зеленые и красно-бурые; это новый лист на иных кустах, еще не позеленевший. В этих пестрых кустах весело бродят монастырские мулы, мирно бряцают колокольчиками. Воздух еще не слишком жарок и как-то особенно душист. Птицы в лесу поют громко по утрам. Сама природа точно готовится пышно и весело встретить «праздник из праздников и торжество из торжеств»!

Настает последний вечер. Все безмолвно, монашеские кельи заперты; длинные коридоры тихи; храмы пусты; лес, гора и берег моря – все безлюдно.

И вот в самую полночь – громкий удар молотом в доску. За ним другой, чаще, чаще! Внезапно вслед за тем раздается торжественный и сильный звон колоколов. Все оживает мгновенно. Двери скрипят и стучат, слышны голоса, огни мелькают всюду. Сияют перед нами отпертые храмы сотнями свечей.

Все пробуждается радостно и бодро!.. У самого усталого является непонятная сила возбуждения!

Конец «великому морю» телесного истязания и нестерпимой в иные дни душевной борьбы, уныния и туги!

Мы у берега – у берега веселого, цветущего! Мы отдохнем теперь. Мы достойны отдыха!

«Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ...»

II

Заутреня под Светлый праздник на Афоне длится всю ночь до раннего утра. Потом все расходятся на короткое время и опять возвращаются в церковь к ранней обедне. Я не знаю, как назвать этот короткий перерыв богослужения: часом отдыха или новым испытанием? Быть может, для иных, например для служащих и поющих, это необходимо; но для нас, поклонников, было бы, кажется, легче не уходить и не ложиться... Снова собираться к обедне очень трудно! Опять понуждение, опять подвиг после истинно «всенощного» бдения! Однако я помню, во время самой обедни, не особенно для Св. Горы продолжительной, мне было так же весело и радостно, как и при начале заутрени, когда мы в первый раз услышали пасхальное пение и не могли вдоволь наслушаться этих ни с чем не сравнимых слов, столь часто, однако, повторяемых: Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ... Но настоящее утешение – после пищи, после долгого и покойного сна, уже без всякого принуждения и болезненности – еще ждало нас впереди: это – вечерня воскресная, которую на Востоке зовут «Второе воскресение» (по-гречески «Девтера анастасис»).

У нас в России эта вечерня первого дня Пасхи проходит для большинства едва замеченной; на Востоке, напротив того, на нее собирается столько же народа, сколько и на самую заутреню, иногда еще и более, потому что за этой службой, не слишком продолжительной и совершающейся в очень удобное время дня, происходит нечто крайне любопытное, нечто такое, что может привлечь из одного любопытства и вовсе не богомольного человека: это – чтение Евангелия на разных языках.

Известно, что на эту вечерню положено читать то Евангелие от Иоанна, в котором повествуется о втором явлении воскресшего Спасителя всем собравшимся ученикам, за исключением апостола Фомы, который, возвратясь потом, впал в сомнение и сказал, что он не поверит этому до тех пор, пока не вложит пальцев своих в раны Христа. (Первое явление было Марии Магдалине.)

Вот почему на Востоке вошло в народный обычай называть эту службу Второе воскресение (то есть Второе явление). На каких языках должно читать Евангелие, конечно, не определено и не должно быть определяемо. Читать можно на всех – и на знакомых большинству, и на незнакомых. И то и другое производит сильное впечатление. На языке понятном приятно следить за мыслью уже хорошо знакомой по родному языку; наречие непонятное поражает иначе – как нечто полутаинственное и странное. Читают на тех языках, на которых в данной местности есть возможность читать: на греческом, конечно, прежде всего, на славянском, на турецком, армянском, албанском, иногда и на арабском или латинском. На французском или итальянском очень редко. Оба эти языка очень распространены в торговом классе, преобладающем в светской среде христиан; но между духовными лицами мало можно встретить людей, хорошо говорящих или читающих правильно на этих «живых» языках Запада. У меня есть греческая маленькая книжка, изданная в 1870 году в Константинополе. В ней помещены субботняя служба у Плащаницы, последование часов Великой субботы и двенадцать Евангелий на разных языках для той Пасхальной вечерни, о которой я пишу. Первым, разумеется, в греческом издании поставлено обыкновенное Евангелие на греческом языке. Потом следует то же место (о втором явлении собранным ученикам) в эллинских стихах (героическим гекзаметром, как сказано в книжке); третьим идет ямбическое греческое переложение того же; дальше – по-«славянорусски» («славороссисти»), потом на новоболгарском языке, дальше по-албански, по-латыни, по-итальянски, по-французски, по-арабски, по-турецки и по-армянски.

В разных городах случалось мне слышать и разные языки; это зависит от того, на каких языках могут читать люди местного духовенства, находящиеся в этот день налицо. Я был на

этой вечерне в Янине, в Адрианополе, в Константинополе (в Халкинской богословской семинарии) и на Афоне.

Хорошо было везде; но на острове Халки было лучше, чем в провинциальных соборах; а на Святой Горе, в греко-русском монастыре Св. Пантелеймона, было лучше всего.

Заутреню и раннюю обедню мы слушали в бывшей домовый Покровской церкви, которая устроена русской братией в верхней по местоположению (в восточной) части обширной обители, расположенной, как я уже сказал, на склоне горы к морю.

Вечерню воскресную служили вместе с греками внизу в главной церкви или в соборе, воздвигнутом, как и все афонские соборы, посредине мощенного плитами двора.

Это уже одно много значило.

В домовый русской церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, кроме иконостаса и утвари, изящной и богатой, ничего нет замечательного. Эта церковь обширна, зимой тепла, удобна, ход в нее прямой из теплого коридора гостиницы – и только. Это очень большая зала с белыми штукатурными стенами, с длинным рядом обыкновенных (четырёхугольных) больших окон, из которых вид на нижнюю (греческую) половину монастыря, на море и всегда темную полосу полуострова Кассандры – несколько уныл, но не лишен величия. Кругом стен – «стасидии» с ручками и откидным «сиденьем», для стояния и отдыха монахам и богомольцам.

Несколько таких же мест, но более почетных, для гостей большого чина или звания – посреди пустой залы у штукатуренных колонн. Удобно, чисто, просторно, бело; но красоты или величия искать тут не надо. Один иконостас, говорю я, очень хорош. Я готов сказать даже и больше этого: я готов назвать его прекрасным. Он очень своеобразен; он как-то изящно-тяжел, в меру пестр и в меру одноцветен.

Он не высок, весь сплошной золоченый; размеры его несколько тяжелы, орнаменты несложны, не кудреваты, строги. Царские врата тоже низки и очень просторны, большие местные иконы только в один ряд, и лики в естественную величину человеческого образа. Если мне не изменяет память, этих икон всего четыре: Спаситель, Божия Матерь, «патрон» монастыря св. Пантелеймон, которого глава хранится внизу у греков, и русский святитель Митрофаний, принесенный нашими на Афон. Все эти иконы превосходной троиче-сергиевской чеканной работы. На тонко-узорном золотом поле выделяются в высшей степени изящно вполне человеческие по цвету лица, но по выражению – иконописно, таинственно покойные образы Учителя-Бога, Девы с Младенцем Христом, прекрасного юноши-мученика и седого преподобного старца. Одежды Спасителя – голубая и розовая и св. Пантелеймона – малиновая с зеленым – прелестны своей яркостью посреди сплошной, одноцветной позолоты. Что касается до лика Самого Христа, то я ни прежде, ни после не видал ничего лучшего. Это – икона высокого стиля, а не картина. Нечто прекрасное и мужественное, и молодое, немного бледное, идеальное, тихое, покойное, и вместе с тем что-то тонко-национальное, семитическое, как бы для большей исторической наглядности, для реальности хорошей, счастливой в смысле возбуждения, положительной веры.

Может быть, у меня вкус нехорош или технику искусства я не достаточно понимаю, но таково было мое впечатление, и я им делюсь с читателями откровенно.

Прекрасный иконостас этот пожертвован теперь уже скончавшимся игуменом Антонием Бочковым (из купцов), который провел последние годы свои на покое под Москвой, в Николо-Угрешском монастыре.

Кроме этого иконостаса, в пустой и обширной белой зале Покровской русской церкви ничто не может произвести особенно праздничного или торжественного впечатления. (Конечно, я не говорю здесь о самом богослужении – его порядок у русских на Афоне образцовый, такого я не видал ни в московских соборах, ни в Оптиной пустыни, ни тем более у греков и болгар, служащих всегда несколько «дерзновеннее», небрежнее наших.)

Совсем не то в главном соборе. Этот собор предоставлен был в то время грекам, живущим в нижней половине монастыря, у моря, как старейшим в обители. Стиль этого храма – общеафонский стиль, вроде наших древних московских соборов. Высокий храм – величавый, обремененный убранством, на вид суровый, темный, но сияющий золотом; бесконечно высокий иконостас; над серединой круглый купол, не широкий и отлогий, как в Св. Софии Царьградской, а покоящийся на круглой башне, как в Исаакиевском соборе.

В афонских соборах эта срединная башня, этот исполинский цилиндр, уходящий к небесам над головой богомольца, не пуст, как бывает у нас... Он весь наполнен сиянием. Кроме массивного и драгоценного центрального паникадила, есть еще ближе к стенам обширный хорус (хор, хоровод, круг). Это серебряное огромное разубранное кольцо с рядом свечей, которые образуют в праздники широкий венец других огней вокруг пирамидой возносящихся огней центральной люстры. Между огнями люстры и огнями кольца ниспадает над головою вашей еще множество отдельных зажженных лампад и свечей и страусовые яйца на серебряных привесках. Хорус тоже снизу украшен бахромой из этих больших белых яиц.

Восточные единоверцы наши имеют сверх того по большим праздникам обычай длинным каким-нибудь орудием приводить в кругообразное движение и паникадило, и хорус, и все, что висит над людьми под куполом. Все эти огни свечей и лампад, это серебро и золото, эти большие и твердые, как камень, яйца – все это белеет, сияет, светится, искрится, двигается над вами, все это словно безмолвно ликует вместе с людьми в тихой, но непрерывной и торжественной пляске...

Мы не привыкли, правда, к восточному пению; оно с непривычки нам кажется неприятным и диким. Но когда хор певчих хорош, как было в то время у греков в Руссике, то нельзя отказать и этому пению в силе и в странной особом рода эффектности... Конечно, богослужение этой вечерни достигло бы совершенства, если бы к несколько мрачной и величавой красоте тяжелого собора, к разноцветной роскоши ярких облачений, к чтению слова Божия на разных языках, к этой простодушно-таинственной пляске огней в глубоком мраке купола – прибавить еще пение хотя бы и на том же прекрасном эллинском языке, но при избранной русской музыке...

Но совершенства нет ни в чем на земле... и в самых высших проявлениях прекрасного. Впрочем, «глас», на который поют греки и болгары «Христос воскрес», с нашим не схожий, довольно приятен... Напев этот менее скор и боек, чем наш: он медлительнее и даже как бы меланхоличнее; но, поживши на Востоке, и к нему привыкаешь скоро, как к чему-то почти родному...

Но вот раздается возглас диакона:

– И о сподобитися нам слышания Святаго Евангелия Господа Бога молим!

И дальше:

– От Иоанна Святаго Евангелия чтение!

– Вонмем! (Просхомен!) – отвечает ему по-гречески русский архимандрит Макарий.

Это первое Евангелие по-гречески читает, сидя по немощи у Царских дверей, сам десятилетний игумен Герасим (бывший священником, 40-летним мужем еще во времена Екатерины Великой).

– Усие опсиас, ти имера экини ти миа тон Савватон... и т. д. «Ильфэн о Иисус кэ эсти ис то месон, кэ леги автис: Эрини имин!» («Мир вам!»)

И дальше о возвращении неверующего апостола Фомы.

Едва только кончил древний старец чтение, как внезапно раздался громкий, потрясающий звон колоколов, и в то же мгновение на дворе началась веселая пальба из ружей. Палят во славу Божию монастырские стражники в фустанеллах. Потом на минуту все стихает; ни звона, ни пальбы, ни возгласов, ни пения... Все молчит мгновенно... И среди этого внезапного замиранья всех звуков раздается в самой церкви, где-то в глубине ее, какой-то странный,

нигде мною не слыханный и чрезвычайно приятный, особенно переливающийся звон... Что-то металлическое и вместе с тем что-то подобное музыкально падающим очень крупным каплям... Это греки ударяют ритмически какими-то шариками на длинных ручках по медным кругам.

И опять тишина и ожидание.

И опять возглас по-славянски...

– И о сподобится нам... От Иоанна Св. Евангелия чтение!

– Вонмем...

Архимандрит Макарий читает по-славянски.

– Сущу же позде в день той, во едину от суббот, и дверем затворенным, идеже бяху ученицы Его собрани, страха ради иудейска, прииде Иисус и ста посреде, и глагола им: мир вам!

О. Макарий кончил... Ап. Фома сказал, что «не будет верить, пока не вложит руки в ребра Его».

Воскликнули певчие: «Докса си, о Феос имоп, докса си...» («Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!»).

И снова торжественный звон, и опять пальба... И опять тишина на мгновение, и снова переливы металлических капель, ниспадающих на металл...

– Теперь что будет?

– Вонмем!

– Какие это звуки?

– Юрта гюнлериш бир инда актам вактинти ее саидлер. – И дальше: – «Ве анлере дэти»: «Селам сизе!» («Мир вам!»)

Это турецкое Евангелие.

Восточные христиане его слушают с удовольствием. Они привыкли к турецкому языку; они, по правде говоря, даже любят его. В Малой Азии есть до сих пор много греков, не знающих по-гречески. В их церквах вся служба совершается по-турецки.

После нового звона, новой пальбы, новых ударов милого шарика и новых возгласов из другой стороны храма послышалось нечто очень знакомое, но с непривычки для нас гораздо более странное, чем евангельская речь на языке пашей, языке и наивном, и суровом. Повевало Римом.

– In illo tempore: quum sero esset die illo, una sabbatorum, et fores essent clausae, ubi erant discipuli...⁷

Затем, опять – после шумной, «поющей, вопиющей», звонящей, играющей и палящей перемежки – слышу я непонятную мне речь...

– Какая это?..

– Это речь народа без словесности, без грамматики – речь народа, имеющего только горные эпические песни... – Греческие монахи опять улыбаются, как чему-то очень знакомому и даже немного смешному.

– Даги Према у эр аме д`уме ме стуне.

Это речь албанская, речь знаменитых арнаутов, которых так любил лорд Байрон, которых и я, признаюсь, крепко люблю; речь безграмотных героев, жестоких разбойников и верных до самопожертвования слуг: в христианстве – дававших самую лучшую военную стихию прежним греческим восстаниям, в мусульманстве – свершающих под турецкими бунчуками самые страшные зверства. Странный народ!.. Полный поэзии и бескорыстного рыцарства, продажно-

⁷ Из Евангелия от Иоанна, глава 20, стих 19: «В тот же первый день недели вечером, когда двери *дома*, где собирались ученики Его, были заперты...» (*лат.*)

сти и злобы, простодушия почти смешного и самой коварной хитрости. Народ-сирота, даже и в прошедшем этнографического родства своего до сих пор не нашедший с точностью⁸.

Вечерня кончилась. Звон и пальба прекратились. На мощеном дворе и в длинных коридорах келий опять воцарилось глубокое безмолвие отдыха.

Из открытого окна моего, сидя, долго смотрел я на розовые, золотые, желтые, бурые и белые кусты как бы ликующей вместе с нами горы, обыкновенно столь мрачной и скучной. Я слушал тихое бряцание колокольчиков на шеях пасущихся мулов; но другие образы и звуки неотступно и восхитительно владели душой моей во весь этот вечер.

Эти возгласы и звон, это чтение слова Божия... Эти разнородные, несхожие звуки: «Мир вам! Эрини имин! Фах vobis! Селам сизе!...» Суровый храм, суровые лики икон, сияние серебра и золота повсюду, – пальба, безмолвие, перезвоны, опять безмолвие; опять молитвенный возглас, опять пальба, и звон, и пение... И тишина, и чтение прекрасное среди благоговейного внимания, едва-едва нарушаемого какой-нибудь улыбкой сочувствия или легкого удивления...

И над всем этим – круговая тихорадостная, непрестающая пляска бесчисленных огней в темной высоте...

– Нет, это в самом деле «праздник из праздников и торжество из торжеств»!..

Впервые опубликовано в 1882 году

⁸ Греки уверяли меня, что этот отрывок из Евангелия пишут по-албански греческими буквами на особом листке и, вложивши в какую-нибудь церковную книгу, читают в церкви. (*Примеч. автора.*)

Владимир Сергеевич Соловьёв (1853–1900)

Воскресные письма

Письмо XI. Христос воскрес!

Первая решительная победа жизни над смертью. Непрерывная война между ними – между живым духом и мертвым веществом – образует, в сущности, всю историю мироздания. Хотя и много насчитывалось побед у духа жизни до Воскресения Христова, но все эти победы были неполные и нерешительные – только половинные, и после каждой из них врагу удавалось под новыми формами торжествующей, по-видимому, жизни утвердить и упрочить свое действительное владычество. Какая великая, по-видимому, была победа жизни, когда среди косного неорганического вещества закишели и закопошились мириады живых существ, первичные зачатки растительного и животного царства. Живая сила овладевает мертвыми элементами, делает их материалом для своих форм, превращает механические процессы в послушные средства для органических целей. И притом какое огромное и всевозрастающее богатство форм, какая замысловатость и смелость целесообразных построений от мельчайших зоофитов до великанов тропической флоры и фауны. Но смерть только смеется над всем этим великолепием: она реалистка; прекрасные образы и символы ее не пленяют, предчувствия и пророчества не останавливают. Она знает, что красота природы – только пестрый, яркий покров на непрерывно разлагающемся трупе. Но разве природа не бессмертна? Всегдашний обман! Она *кажется* бессмертной для внешнего взгляда, со стороны, – для наблюдателя, принимающего новую мгновенную жизнь за продолжение прежней. Говорят об умирающей и вечно возрождающейся природе. Какое злоупотребление словом! Если то, что сегодня рождается, – не то же самое, что умерло вчера, а другое, то в чем же здесь возрождение? Из бесчисленного множества мимолетных смертных жизней ни в каком случае не выйдет одна бессмертная.

Жизнь природы есть *делка* между смертью и бессмертием. Смерть берет себе всех живущих, все индивидуальности и уступает бессмертию только общие формы жизни: это единичное растение или животное обречено неизбежно погибнуть после нескольких мгновений; но эта форма растительности или животности, этот вид или род организмов остается. Божью заповедь ко всем живым существам: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю – смерть обращает в свою пользу. Плодитесь и размножайтесь не для того, чтобы расширить, упрочить и увековечить свою жизнь, а для того, чтобы поскорее исчезнуть, чтобы было кому сменить и заменить вас, наполняйте землю своими смертными останками, будьте только мостом для следующего поколения, которое, в свою очередь, станет лишь мостом для своих преемников и т. д. Вместо жизни и бессмертия – этот нескончаемый ряд мостов. Правда, они строятся даром, правда, по этому мертвому пути идет творческий дух к предуготовленной ему цели. Но почему он должен непременно идти по забытым гробам, и если его цель добрая, то зачем это дурное средство: постоянно возобновляющий обман смертной жизни?

Нет! Эта кажущаяся жизнь есть только символ и зачаток истинной жизни; организация видимой природы не есть решительная победа живого духа над смертью, а только его *приготовление* для настоящих действий. *Начало* этих действий обусловлено появлением разумного существа над царством животным. Благодаря способности отчетливого, обобщающего мыш-

ления в человеке, жизнь перестает быть только целесообразным процессом родовых сил и становится, сверх того, целесообразной *деятельностью* сил индивидуальных:

Все, что колеблется в явлении текущем,
Вы закрепляйте помыслом могучим.

Война между жизнью и смертью вступает в новый фазис с тех пор, как ведется существованиями не только живущими и умирающими, но, сверх того, мыслящими о жизни и смерти. В этих мыслях еще нет победы, но в них – необходимое оружие победы. Герои человеческой мысли, великие мудрецы Востока и Запада подготовляли победу. Но они не были победителями смерти: они умерли и не воскресли. Достаточно назвать только двух величайших. Учение Будды было собственно *отказом от борьбы*, он проповедовал равнодушие к жизни и смерти, и кончина его не была ничем замечательна. Сократ не отказывался от борьбы, он вел ее доблестно, и его смерть была *почетным отступлением* в область, не доступную для врага, но трофеи победы остались все-таки у этого врага.

Если сила физическая неизбежно побеждается смертью, то сила умственная недостаточна, чтобы победить смерть: только беспредельность нравственной силы дает жизни абсолютную полноту, исключает всякое раздвоение и, следовательно, не допускает окончательного распада живого человека на две отдельные части: бесплотный дух и разлагающееся вещество. Распятый Сын Человеческий и Сын Божий, почувствовавший Себя оставленным и людьми, и Богом и при этом молившийся за врагов Своих, очевидно, не имел пределов для Своей духовной силы, и никакая часть Его существа не могла остаться добычей смерти.

Мы умираем потому, что наша духовная сила, внутри связанная грехами и страстями, оказывается недостаточной, чтобы захватить, вобрать внутрь и претворить в себя все наше внешнее, телесное существо; оно отпадает, и наше естественное бессмертие (до того последнего воскресения, которое мы можем получить только чрез Христа) есть только половинное, бессмертна только внутренняя сторона, только бесплотный дух. Христос воскрес всецело.

«Когда же они это говорили, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам. Они же, в испуге и страхе, думали, что видят духа. Он же сказал им: чего смущаетесь, и зачем такие помышления входят в сердца ваши? Видите руки Мои и ноги Мои что это Сам Я; осяжите меня и рассмотрите, ибо *дух плоти и костей не имеет, как Меня видите имеющего*. И сказав это, показал им руки и ноги. А как они от радости еще не верили и дивились, говорит им: есть ли у вас здесь что-нибудь съестное? Они же дали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. *И, взявши, ел перед ними*» (Ев. от Луки, XXIV, 36–43).

Духовная сила, внутренне свободная в Христе от всяких ограничений, нравственно беспредельная, естественно освобождается в Его Воскресении и от всяких внешних ограничений и, прежде всего, от односторонности бытия исключительно духовного в противоположность бытию физическому, – воскресший Христос есть *больше чем дух*, – дух не имеет плоти и костей, дух не вкушает пищи, – как дух, навеки воплощенный, Христос со всею полнотою внутреннего психического существа соединяет и все положительные возможности бытия физического без его внешних ограничений. *Все живое* в Нем сохраняется, все смертное побеждено безусловно и окончательно.

Будучи решительной победою жизни над смертью, положительного над отрицательным, Воскресение Христово есть тем самым торжество разума в мире. Оно есть чудо лишь в том смысле, в каком первое новое проявление чего-нибудь, как необычное, невиданное, удивляет или заставляет *чудиться*. Если мы, забыв о результатах всемирного процесса в его целом, будем только следить за различными новыми его стадиями, то каждая из них представится чудом. Как появление первого живого организма среди неорганической природы, как, затем, появление первого разумного существа над царством бессловесных было чудом, так и появле-

ние первого всецело духовного и потому не подлежащего смерти человека – первенца от мертвых – было чудом. Если чудесами были предварительные победы жизни над смертью, то чудом должно признать и победу окончательную. Но то, что *представляется* как чудо, *понимается* нами как совершенно естественное, необходимое и разумное событие. Истина Христова Воскресения есть истина всецелая, полная – не только истина веры, но также и истина разума. Если бы Христос не воскрес, если бы Каиафа оказался правым, а Ирод и Пилат – мудрыми, мир оказался бы бессмыслицею, царством зла, обмана и смерти. Дело шло не о прекращении чьей-то жизни, а о том, прекратится ли *истинная* жизнь, жизнь совершенного праведника. Если такая жизнь не могла одолеть врага, то какая же оставалась надежда в будущем? Если бы Христос не воскрес, то кто же мог бы воскреснуть?

Христос воскрес!

13 апреля 1897 года. Светлое Воскресение. С. Пустынька

Письмо XII. О добросовестном неверии

Было бы очень печально, если бы истины веры были сразу очевидны для всякого. Тогда они, собственно, и не были бы истинами *веры*. Бог, спасение души, всеобщее воскресение совершенно *достоверны*, но их достоверность не есть принудительная для всякого ума очевидность, принадлежащая положениям математическим, с одной стороны, и прямо наблюдаемым фактам – с другой. Очевидным бывает только маловажное для жизни. Математические истины имеют всеобщее значение, но они нравственно безразличны. Всегда и везде дважды пять составляет десять, но от этого никому не тепло и не холодно. С другой стороны, факты, прямо наблюдаемые, могут быть более интересны, но зато они совершенно лишены всеобщего движения, они ограничены и мимолетны. Я вижу, что сейчас в Москве ясный солнечный день. Это факт очевидный и не лишенный некоторого интереса, но его никак нельзя удержать и превратить в истину, неизменную везде и всегда, – факт достоверен только здесь и сейчас. Подобным образом и всякая другая очевидность сама по себе или формальна, как математика, или случайна, как сегодняшней светлый день в Москве. А все то, в чем всеобщность и внутренняя необходимость соединяются с жизненною важностью, – все такие предметы лишены прямой очевидности и осязательности для ума и для внешнего чувства. Отвергать их на этом основании, т. е. признавать истинным или достоверным только то, что имеет очевидность математической аксиомы или наблюдаемого чувственного факта, было бы признаком тупоумия едва ли вероятного, или, во всяком случае, крайне редкого. Обыкновенно истины веры отвергаются заранее не по грубости ума, а по лукавству воли. Нет сердечного влечения к таким предметам, как Бог, спасение души, воскресение плоти, нет желания, чтобы эти истины действительно существовали, без них жизнь легче и проще, лучше о них не думать, – а тут уже уму нетрудно найти предлог, чтобы не думать о них или, по крайней мере, не считаться с ними серьезно: ведь все это вещи, которых нельзя *доказать* ни разумом, ни опытом, значит, все это недостоверно, фантастично.

Такое неверие, в сущности, неуверенное в самом себе и потому более или менее озлобленное против тех предметов, существование которых оно отрицает, – этим озлоблением и выдает себя, потому что нельзя же в самом деле сердиться на то, чего и нет совсем, – такое неверие *недобросовестно*; в лучшем случае оно основано на малодушном отказе от той работы ума и от того подвига воли, которые необходимы, чтобы постигнуть и усвоить истины, лежащие за пределами математической и фактической очевидности. Но есть другого рода неверие, совершенно *добросовестное*, основанное не на каком-нибудь недостатке нравственном, а только на известной особенности психологического темперамента. Типичный представитель такого неверия увековечен Евангелием в лице св. Фомы. «Фома же, один из Двенадцати, называемый Близнец, не был с ними, когда приходил Иисус. Говорили же ему другие ученики: мы

видели Господа. А он говорит им: если не увижу на руках Его язвы гвоздные и не вложу перста в язвы гвоздные и не вложу руки моей в ребро Его, не поверю. И через восемь дней опять были внутри ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус при дверях затворенных и стал посредине и сказал: мир вам! Затем говорит Фоме: дай перст свой сюда и смотри руки Мои, и дай руку свою и вложи в ребро Мое, и не будь неверующим, но верующим. И отвечал Фома и сказал Ему: Господь мой и Бог мой; Говорит ему Иисус: потому что видел Меня, Фома, уверовал; блаженни невидевшие и уверовавшие» (Ев. от Иоанна, XX, 24–29).

Если бы неверие Фомы происходило от грубого материализма, сводящего всю истину к чувственной очевидности, то, убедившись осязательно в факте Воскресения, он придумал бы для него какое-нибудь материалистическое объяснение, а не воскликнул бы: Господь мой и Бог мой! С точки зрения чувственной очевидности язвы гвоздные и прободенное ребро никак не доказывали Божества Христова. Еще яснее, что неверие Фомы не вытекало из нравственной несостоятельности или из вражды к истине. *Любовь* к истине привлекла его к Христу и породила в нем безграничную преданность Учителю. Когда перед последним путешествием в Иерусалим Христос отверг указание на грозящую смертельную опасность, Фома воскликнул: «Пойдем и мы умрем вместе с ним!» (Ев. от Иоанна, XI, 16).

Недаром это отмечено в Евангелии. В этом пылком выражении сердечной преданности есть указание на психологическую причину неверия ап. Фомы. Стремительный, предваряющий события характер, приняв истину, требует немедленного ее осуществления, он не удовлетворяется принципиальной уверенностью, не полагается и на чужое свидетельство, ему нужно *теперь, здесь* удостовериться в ней на деле, испытать ее реальную силу, проверить истину фактом. До тех пор он отказывается верить: если не увижу, не поверю. Но, раз увидев, он уже беззаветно верит и в то, чего не видел и чего нельзя видеть: чувственный факт был не основанием, а лишь точкою опоры для его веры.

Временное, добросовестное неверие, ради окончательного и полного удостоверения в истине, не заслуживает нравственного осуждения. Христос и не осудил Фому, а убедил его тем способом, которого он требовал. Люди, не нуждающиеся в этом способе, верующие без проверки, могут быть не лучше Фомы – они только счастливее его: блаженны невидевшие и веровавшие. Но блаженство спокойной и непоколебимой веры обязывает своих обладателей снисходительно относиться к своим менее счастливым собратьям. Во времена преобладающего неверия важно различать, с *каким* неверием имеешь дело. Есть ли это неверие грубо-материальное, скотоподобное, не способное возвыситься до самого понятия об истине, – о таком бесполезно рассуждать: *non ragionar di lor, ma guarda e passa*; или это есть неверие лукавое, сознательно злоупотребляющее разными полуистинами из враждебного страха перед полною истиною, – за этою змеей необходимо следить, без гнева и боязни раскрывая все ее ухищренные извороты; или, наконец, мы имеем дело с чисто человеческим, добросовестным неверием, жаждущим только полного и окончательного удостоверения в совершенной истине. Это неверие типа апостола Фомы имеет все права на нравственное наше признание, и если мы не можем, подобно Христу, дать этим людям требуемое ими удостоверение истины, то ни в каком случае не должны мы осуждать и отвергать их: без всякого сомнения, эти мнимоневерующие предвоят в Царствии Божиим великое множество мнимоверующих.

20 апреля. 1897 года. Неделя о Фоме. Москва

Владимир Галактионович Короленко (1853–1921)

В ночь под Светлый праздник

Страстная суббота 187* года.

Сумрачный вечер давно уже спустился на примолкшую землю. Разогретая за день и теперь слегка обвеянная бодрым дыханием весеннего ночного мороза, земля, казалось, тихо вздыхала полною грудью; от этого дыхания, играя в лучах величаво горевшего звездного неба, вставали белесоватые туманы, точно клубы кадильного дыма, подымавшиеся навстречу идущему празднику.

Было тихо. Небольшой губернский город N., весь обвеянный сумрачною прохладой, замолк, в ожидании минуты, когда с высоты соборной колокольни прозвенит первый удар. Но город не спал. Под покровом влажного сумрака, в тени молчаливых, безлюдных улиц, слышалось сдержанное ожидание. Лишь изредка пробежит запоздалый труженик, которого праздник чуть не застал за тяжелою, непокорною работою, прогремит извожничья пролетка – и опять безмолвная тишь... Жизнь схлынула с улиц в дома, в богатые хоромы и скромные лачуги, светившие окнами на улицу, и там притаилась. Над городом, над полями, над всею землей слышалось незримое веяние наступающего праздника Воскресения и обновления...

Луна не поднималась, и город лежал в широкой тени возвышенности, на которой виднелось большое, угрюмое здание. Странные, прямые и строгие линии этого здания мрачно рисовались на звездной лазури; темные ворота чуть-чуть выделялись, зияя во мраке затененной стены, и четыре башни по углам вырезались на небе острыми вершинами.

Но вот с высоты соборной колокольни сорвался и пронесся в чутком воздухе задумчивой ночи первый звенящий удар... другой, третий... Через минуту в разных местах, разными тонами, звенели, заливались и пели колокола, и звуки, сплетаясь в могучую, своеобразную гармонию, тихо колыхались и будто кружились в эфире... Из темного здания, затенявшего город, слышалось тоже чахлое, надтреснутое дребезжанье, как будто трепетавшее в воздухе в жалком бессилии подняться в эфирную высь за могучим аккордом.

Звон смолк... Звуки растаяли в воздухе, но безмолвие ночи лишь постепенно вступало в свои права: долго еще в сумраке чудился смутный, замирающий отголосок, точно дрожание невидимой, натянутой в воздухе струны... В домах огни погасли; окна церковей сияли. Земля в 187* году еще раз готовилась провозгласить старый лозунг победы мира, любви и братства...

* * *

В темных воротах угрюмого здания лязгнули запоры. Полувзвод солдат, бряцая в темноте оружием, вышел сменять ночные караулы. Они подходили к углам, на время останавливались у постов; из темной кучки людей выходила размеренным шагом одна фигура, а прежний часовой как будто тонул в этой неопределенно черневшей кучке... Затем полувзвод двигался дальше, обходя вокруг высокой тюремной стены.

На западной стороне на смену стоявшего здесь часового вышел молодой новобранец; в его движениях не исчезла еще деревенская угловатость; молодое лицо хранило выражение напряженного внимания новичка, впервые занимающего ответственный пост. Он стал лицом к стене, брякнул ружьем, ступил два шага и, сделав полуоборот, стал плечом к плечу прежнего

часового. Тот, слегка повернув к нему голову, прочитал заученным тоном обычные наставления:

– От угла до угла... смотреть... не спать, не дремать! – быстро говорил солдат, а рекрут слушал все так же напряженно, и в его серых глазах сквозило какое-то особенное выражение тоски.

– Понял? – спросил ефрейтор.

– Так точно!

– Ну, смотри! – сказал тот строго и затем, изменив тон, заговорил более добродушно: – Да ничего, Фадеев, не бойся! Чай, ты не баба... Лешего, что ли, тебе бояться-то?

– Зачем лешаго? – наивно ответил Фадеев и потом задумчиво прибавил: – Так штой-то на сердце... будто как чижало, братцы...

При этом простодушном, почти по-детски звучащем признании в кучке солдат послышался смех.

– Вот она, деревня-то матушка! – с пренебрежительным сожалением промолвил ефрейтор и резко скомандовал: – Ружья вольно!.. Шагом марш!

Караул, мерно постукивая на ходу, скрылся за углом, и скоро шаги его стихли. Часовой вскинул ружье и тихо пошел вдоль стены...

* * *

Внутри тюрьмы, с последним ударом колокола, началось движение. Мрачная и скорбная тюремная ночь давно уже не видела подобного оживления. Как будто действительно благовест донесся сюда вестью свободы: черные двери камер одна за другой отворялись. Люди в серых халатах, с роковыми цветными лоскутьями на спинах, длинными вереницами попарно проходили по коридорам, входя в тюремную церковь, блиставшую огнями. Они шли справа и слева, поднимались по лестнице снизу, опускались сверху; среди гулкого топота слышался по временам лязг ружья и переливчатое бряцание ножных кандалов. Входя в обширную церковь, серая толпа вливалась в отгороженные решеткой места и там затихала. В церковных окнах также виднелись крепкие железные решетки...

Тюрьма опустела. Только в четырех угловых башнях, в небольших круглых камерах, наглухо запертых, четыре одиночных арестанта угрюмо метались по своим кельям, по временам припадая ухом к дверям и жадно ловя отрывки долетавшего из церкви пения...

Да еще в одной из общих камер, на нарах, лежал больной. Смотритель, которому доложили о внезапно заболевшем, подошел к нему, когда арестантов уводили в церковь, и, наклонясь, заглянул в его глаза, горевшие странным блеском и тупо устремленные в пространство.

– Иванов!.. Слушай, Иванов! – окликнул смотритель больного.

Арестант не повернул головы; он бормотал что-то невнятное; голос был хриплый; воспаленные губы шевелились с усилием.

– Завтра в больницу! – распорядился смотритель и вышел, оставив у дверей камеры одного из коридорных. Тот внимательно посмотрел на лежавшего в горячке и покачал головой.

– Эх, бродяга, бродяга! Видно, братец, отбегал свое! – И, решив, что тут ему делать нечего, надзиратель прошел по коридору к церкви, остановился у запертой двери и стал слушать службу, то и дело припадая к земле для поклонов.

Пустая камера оглашалась по временам невнятным говором больного. Это был не старый еще человек, сильный и крепкий. Он бредил, переживая недавнее прошлое, и лицо его искажалось выражением муки.

Судьба шутила над бродягой скверную шутку. Он прошел тысячу верст, пробираясь тайгой и дикими хребтами, вынес тысячи опасностей и лишений, гонимый жгучей тоской по родине, руководимый одною надеждой: «повидать бы... на месяц... на неделю... пожить у

своих... а так – хоть опять та же дорожка!» За сотню верст от родимой деревни он попал в эту тюрьму...

Но вот невнятный говор притих. Глаза бродяги расширились, грудь дышит ровнее... Над горящею головой повеяло более отрадными мечтами...

...Шумит тайга... Ему знаком этот шум – ровный, певучий, свободный... Он научился различать голоса леса, говор каждого дерева. Величавые сосны звенят высоко, высоко, густою, темною зеленью... Ели шепчут протяжно и гулко; веселая, яркая листвень машет гибкою веткой; осина дрожит и трепещет чутким, боязливым листом... Свищет свободная птица, ручей говорливо и буйно летит по каменистым оврагам, и таежные сыщицы – стая болтливых сорок – носятся в воздухе над теми местами, где, невидимый в чаще, проходит тайгою бродяга⁹.

Точно струя свободного таежного ветра опажнула больного. Он поднялся, глубоко вздохнул; глаза с выражением внимания глядят вперед, но вдруг в них блеснуло что-то вроде сознания... Бродяга, привычный беглец, увидел перед собою необычайное явление: открытую дверь...

Могучий инстинкт встряхнул весь организм, потрясенный болезнью. Признаки бреда быстро исчезали или группировались около одного представления, ярким лучом прорезавшегося в этом хаосе: один!.. дверь открыта!..

Через минуту он стоял на полу. Казалось, весь жар воспаленного мозга хлынул к глазам: они глядели как-то ровно, упорно и страшно.

Кто-то, выходя из церкви, отворил на мгновение дверь... Волны стройного, смягченного расстоянием, пения коснулись уха бродяги и опять глухо смолкли. На бледном лице скользнуло умиление, глаза затуманились, и в уме пронеслась давно лелеянная мечтою картина: тихая ночь, шепот сосен, склонившихся темными ветвями над старою церковью родимой деревни... толпа земляков, огни над рекой и это самое пение... он торопился в пути, чтоб услышать все это там, у своих...

Между тем в коридоре, у церковных дверей, припадая к земле, надзиратель усердно молился...

* * *

Молодой рекрут ходит с ружьем вдоль стены. Перед часовым расстилается ровное, недавно обнажившееся из-под снега, далеко уходящее поле. Легкий ветер бежит по нему, шелестя засохшим бурьяном, звенит в прошлогодней траве и веет в душу солдата спокойною, грустною думой.

Молодой часовой остановился у стены, поставил ружье на землю и, положив руки на дуло, а голову на руки, глубоко задумался. Он не мог еще ясно представить себе, зачем он здесь, в эту торжественную ночь перед праздником, с ружьем у стены, в виду пустынного поля. Вообще, он был еще настоящий мужик, не понимал еще многого, что так понятно солдату, и его недаром дразнили «деревней». Он так недавно еще был свободен, был хозяин, владелец своего поля, своей работы... а теперь страх, безотчетный, необъяснимый, неопределенный, преследовавший каждый шаг, каждое движение, вгонял молодую и угловатую деревенскую натуру в колею строгой службы.

Но в эту минуту он был один... Пустынный вид, расстилавшийся перед глазами, и свист ветра в бурьяне навевали на него какую-то дрему, и перед глазами молодого солдата несутся

⁹ Сибирские бродяги рассказывают, что в глухой тайге сороки стаями провожают пробирающегося в чаще человека. В те времена, когда охота на «горбачей» разрешалась законом, буряты-охотники выслеживали бродяг по громким крикам сорочьей стаи. (Примеч. автора.)

родные картины. Он тоже видит деревню, и тот же бежит над нею ветер, и церковь горит огнями, и темные сосны качают над церковью зелеными вершинами.

По временам он как будто очнется, и тогда в его серых глазах отражается недоумение: что это? – поле, ружье и стена... Он на минуту вспоминает действительность, но скоро опять смутный звон ночного ветра навевает родные картины, и солдат опять дремлет, опершись на ружье...

Невдалеке от места, где стоит часовой, на гребне стены появляется темный предмет: это голова человека... Бродяга глядит в дальнее поле, к чуть видной черте далекого леса... Его грудь расширяется, жадно ловя свежее, свободное дуновение матери-ночи.

Он спускается на руках и тихо скользит вниз вдоль стены...

* * *

Радостный гул колоколов будит ночную тишь. Дверь тюремной церкви раскрылась, во дворе крестный ход; стройное пение хлынуло волной из церкви. Солдат вздрогнул, выпрямился, снял шапку, чтобы перекреститься, и... замер с поднятою для молитвы рукой...

Бродяга, достигнув земли, быстро пустился к бурьяну.

– Стой, стой!.. Голубчик, родимый!.. – вскрикивает часовой, в ужасе подымая ружье. Все, чего он боялся, перед чем трепетал, надвигается на него, бесформенное, страшное – в виду этой бегущей серой фигуры. «Служба, ответ!» – мелькает в уме солдата, и он, вскинув ружье, прицелился в бегущего человека. Перед тем, как спустить курок, он с жалким видом зажмурил глаза...

А над городом вновь парит и кружится в эфире гармонический, певучий, переливчатый звон и... опять надтреснутый колокол тюрьмы трепещет и бьется, точно стон подстреленной птицы. Из-за стены стройно несутся далеко в поле первые звуки торжествующей песни: «Христос воскрес!»

И вдруг за стеной, покрывая все остальное, грянул выстрел... Слабый, беспомощный стон пронесся за ним беспредметною жалобой, и затем на мгновение все стихло...

Только дальнее эхо пустынного поля с печальным ропотом повторяло последние раскаты ружейного выстрела.

Впервые опубликовано в 1885 году

Клавдия Владимировна Лукашевич (1859–1931)

Мое милое детство (Избранные отрывки)

II.

Как проводили в нашей семье Страстную неделю

Страстная неделя читалась в нашей семье и в семье бабушки и дедушки как величайшая святыня... Няня и мама одевались в темные платья, строго постились, каждый день ходили в церковь и говели. Везде у нас теплились лампы, было тихо и благоговейно. Нам, детям, почему-то бывало и жутко, и радостно. По вечерам няня часто рассказывала нам о страданиях Христа и всегда плакала... Иногда с великими святыми событиями она перемешивала и легенды... Рассказывала про птичку, которая вытащила клювом один колючий шип от тернового венца из святого лба Господа и ее грудка обагрилась кровью... И с тех пор эта птичка святая, и ее зовут «красногрудка»; рассказывала, как, мучась, Христос нес святой крест на Голгофу и как все, кто Его касался, исцелялись.

– Скажи, нянечка, ведь Христос воскреснет?! – взволнованно, сквозь слезы, спрашивали мы, оплакивая страдания Христа, которые няня передавала так жалостливо и трогательно.

– Ну конечно, воскреснет... Но мы-то всегда должны помнить об Его страданиях и плакать о Нем.

И я помню, что в дни Страстной недели мы, дети, как-то душой проникались воспоминаниями о величайших евангельских событиях; эти воспоминания воплощались во что-то реальное, и все выливалось в особое, святое религиозное чувство... Казалось, что Бог с нами присутствует, страдает, молится и прощает.

Когда, бывало, в пятницу Великой вечерни выносили Плащаницу, мне всегда казалось, что действительно хоронят Христа... И как только запоют «Благообразный Иосиф», няня начала горько плакать, и я за нею... С тех пор я особенно люблю эту службу и всегда вспоминаю чистые детские слезы о Господе...

В Страстную субботу мы с няней ходили и к ранней обедне, и к поздней. Мама бывала недовольна и укоряла няню:

– Ну зачем ты ребенка таскаешь в такую рань?.. Ходи одна, если хочешь.

– Беляночка сама просится... Дитяти Господь милость пошлет... Пусть молится за нас, грешных...

Действительно, я любила эти ночные молитвы, в них было что-то таинственное и святое... Няня говорила, что мы идем хоронить Христа. Я знала, что Плащаницу будут обносить вокруг церкви и мы с няней пойдем со свечами за нею.

Няня тихонько будила меня рано-рано, часа в четыре ночи... Глаза слипались, еще хотелось спать, но в душе был точно какой-то долг: надо идти хоронить Христа.

Выходили мы в полумраке, не пивши чаю, шли с моей старушкой по темным улицам. Таинственно и прекрасно. Душа полна радостью, точно делаешь что-то хорошее... В церкви

народу мало, но как-то особенно значительно раздаются моления и испытываешь особенное молитвенное настроение...

Я так любила и до сих пор люблю церковные службы на Страстной неделе. Они для меня полны духовного трепета, великого нравственного значения и дорогих детских воспоминаний...

Возвращаемся с няней домой, точно совершили какой-то подвиг. Сестра Лида завидует мне и даже всплакнет.

– Вот, нянечка, Клавдю взяла к ранней обедне, а меня нет...

– Ты еще маленькая, устанешь... Тебе нельзя, а Клавденька большая...

– И я хочу тоже к ранней обедне...

– Не плачь, деточка... Ты ведь маленькая... Все будет в свое время... Пойдешь на будущий год.

* * *

А дома, в нашей маленькой квартирке, в это время, на Страстной неделе, кипели такие интересные хлопоты... Все делалось по порядку, по заветам старины, в определенное время... Мы во всем помогали маме и няне. Сначала шла уборка квартиры: мама и няня, повязав головы платками, обметали потолки, стены, мыли окна, печи, полы, скребли каждый уголок, чистили, обтирали каждую вещь. Уборка шла на славу.

В среду няня чистила образа. Это было своего рода священнодействие, и к нему допускались я и Лида. Мы очень любили это дело и постоянно приставали к няне:

– Скоро? Скоро будем образа чистить? Поскорее, нянечка.

– Повремените, деточки... Это дело нешуточное... Надо осмотрительно...

Прежде всего няня тщательно умывалась и нам заботливо мыла руки мылом. Потом на обеденном столе расстилалась чистая скатерть. На этот стол сносились все образа из квартиры, а их было у нас немало. Затем няня приготавливала мел и делала мыльную воду. Мы с Лидой тщательно терли и мыли серебряные и металлические венчики и ободки на старинных окладах, и каждая старалась это сделать как можно чище и ярче. Затем няня заставляла нас помолиться.

– Теперь, благословясь, оботрите деревянным маслом лики.

Мы обтирали лики. Эта работа казалась нам важной и святой. После нашей чистки иконы в углах комнат сверкали необыкновенно, и перед ними ярко горели лампы. Няня ходила умиленная. А комнаты нашей квартиры походили на кельи монахинь.

В четверг наша старушка делала «четверговую соль»¹⁰. Это была какая-то совсем особенная черная соль, которую жгли в духовой печке и на Пасху ставили на стол. И разговляться без «четверговой соли» казалось нам невыносимым.

И в четверг же у нас дома обыкновенно красили яйца. Это, конечно, бывало самое интересное из подготовки пасхального стола. Во главе этого дела стоял отец. Мама ему помогала. Мы ни на шаг не отходили от них, и каждая из нас имела право выкрасить для себя по нескольку яичек.

Папа непременно хотел перещеголять дедушку, который был великий мастер красить яйца. Да и отец наш ему не уступал.

В то далекое время таких красок, как теперь, не было. Яйца красили в сандале¹¹, в шелухе луковых перьев, в кофейной гуще и в разных нитках и обрезках шелка. Папа вырезал из сахарной синей бумаги разные рисунки и фигуры, прикладывал их к яйцам, обвертывал все луковой шелухой, завязывал тряпкой и клал варить. Мы с мамой делали то же.

¹⁰ Эту соль делают в память о том, что Христос на Тайной вечере обмакнул хлеб в соль.

¹¹ Сандал – сандаловая бумага, в которую заворачивались «головы» сахара.

Как, бывало, волнуешься, дрожишь, замираешь, когда разворачивают уже сваренное яичко. Что-то будет? Боже, какой восторг! Вот яичко вышло желтенькое с крапинками, а на нем синеватый якорь и буквы «Х» и «В» (конечно, папиной работы). Кроме того, папа очень искусно нацарапывал на крашенных яйцах цветы, расписывал яички красками и всегда выбирал трогательные и нежные сюжеты, например: якорь, сердце, голубков, цветы и т. п.

В пятницу нянечка пекла кулич, месить который помогал ей отец, а вечером делали пасху. Это было целое событие, особенно памятное мне.

Мама уже ранее несколько раз бегала к бабушке за советами: как сделать пасху, сколько чего положить, как замесить кулич, сколько держать в печке окорок... И все у нас по советам бабушки выходило отменно хорошо. Никогда ничего не портили.

Особенно удавалась пасха. Она была традиционная «бабушкина» и делалась по ее старому, собственному рецепту. Я и до сих пор делаю эту заварную «бабушкину» пасху.

Надо было строго положить всего по пропорции, долго мешать, тихо прогревать на огне и, храни Бог, не переварить.

Старинную медную кастрюлю с жидкой белой массой осторожно снимают с плиты, няня перекрестится и медленно выливает творожную массу в пасочницу, накрытую белой тряпкой...

– Попробуй, няня, довольны ли сахару? – спрашивает мама.

– Что с тобой, голубушка?! Да разве стану я пробовать... Ты хочешь, чтобы я оскоромилась... Да разве это возможно!

Я вопросительно взглядываю на няню и тоже не решаюсь оскоромиться. Мне кажется это большим грехом. А как хотелось бы попробовать вкусной пасхи!

И вот уже заканчиваются последние праздничные приготовления.

* * *

Наступила суббота. Вечер. Мама накрывает и убирает маленький скромный пасхальный стол... Все у нас просто, незатейливо и всего понемногу... Однако на всем видна заботливая рука хозяйки: в корзиночках выращена зелень – овес; свиты гнездышки из сена, и туда уложены пестрые яички.

– Маменька, положите мои яички в гнездышко... Нет, мои... мои красивее... – просим мы с Лидой.

– Для обеих моих птичек сделано по гнезду... И положу туда яички... И будут у нас скоро птенчики... – говорит мама и смеется, смеется так весело и заразительно.

Мама начинает нас обеих крепко-крепко целовать.

– Господи, помилуй, Клавденька, что это ты смеешься в такой-то день!!! Ну чего ты так балуешься с детьми?! – говорит няня.

И мы втроем затихаем. Мама снова проворно и умело украшает стол. Она убирает окорок белыми фестонами¹². Она пришивает на углы стола букеты из брусничных веточек и так все проворно, красиво. Пасхальные кушанья кажутся необыкновенно вкусны, так и текут слюнки, просто не дожدهшься разговенья после недели строгого поста.

А няня в это время хлопочет, чтобы дворник или верхняя жиличка снесли освятить пасху, кулич и яйца. Все это она увертывает в белую скатерть и дает наставления.

Наша милая старушка, пока мы были малы, никогда не могла пойти к заутрене. Она всегда оставалась дома.

¹² Фестон – зубчатая полоска бумаги или ткани.

Родители наши отправлялись в ту же церковь, куда ходили и дедушка с бабушкой. Эта приходская церковь была далеко, где-то на Васильевском острове... Разговлялись мы ночью, когда папа и мама приходили из церкви.

Бывало, еле-еле дождешься этой минуты...

– Нянечка, скоро будем разговляться?... – томлюсь я.

– Уж как пасхи да кулича хочется... Не дожидаться разговенья, – ноет Лида.

– Сначала святого яичка дадут... – говорю я.

– А после и кулича, и пасхи... Как вкусно-то, – шепчет Лида.

– Обе вы сонные. И глаза-то не смотрят, и губы-то еле говорят... Лягте, деточки, не томитесь. Еще долго-долго. Засните... Придут папа с мамой, я разбужу. Приведет Господь – и разговеемся все.

– Не уснуть, нянечка...

– Прочитайте десять раз «Отче наш» и заснете...

Глаза слипаются, зеваешь, томишься, читаешь без конца «Отче наш», но заснуть невозможно. Волнуешься, ждешь разговенья, завтрашнего дня и всех радостей жизни...

* * *

Я помню, как родители взяли меня первый раз к заутрене. Нянечка моя волновалась больше меня... Как она меня прихорашивала, наряжала, наставляла и учила:

– Ты смотри, Беляночка, как в церкви двери закроют и уйдет крестный ход, тогда скоро и «Христос воскрес» запоют. Сначала за дверью пропоют, будто узнали благую весть. Господи, в храмах Божиих какие сегодня молитвы поют, какая служба идет!..

Няня особенно тревожилась и просила папу:

– Сударь мой Владимир Васильевич, вы уж Беляночку не простудите... Не заснула бы она... Уж до конца не стойте... Дитя первый раз у заутрени... Пораньше уйдите... Господь простит, коли не достоите...

– Будьте покойны, нянюшка, вернем ваше сокровище в сохранности.

Няня меня укутала, перекрестила, и мы ушли... Как я счастлива, горда и довольна! Я с папой и мамой иду к заутрене... Хотя мне всего-то семь лет, но я кажусь себе большой. Шестилетняя сестра Лида, конечно, не может сравниться с такой взрослой девицей, которая уже идет к заутрене! И Лида, конечно, обижена и даже заплакала. Но ее утешают, что в следующем году и она будет большая и тоже пойдет к заутрене...

Только раз в году и бывает такая ночь... Какая-то особенная, чудесная... Святая ночь под праздник Светлого Христова Воскресения полна невыразимой радости. Никто не спит в эту ночь... И кажется, все ищут ласки, примирения. И в сердце самого обиженного, несчастного человека просыпается всепрощение и надежда на счастье.

Мы идем медленно к заутрене. Папа и мама держат меня за руки. А я примолкла и вся превратилась в зрение. Кругом шум, движение и суeta. На улицах горят плошки с маслом, а кое-где даже целые бочки. Люди идут, идут без конца, с куличами, с пасхами... Все веселые, радостные, нарядные... Вдруг раздается сигнальный пушечный залп... Скоро пронесется благодный звон... «Звонят во всех церквах на все голоса, как никогда нигде. Точно ангелы поют на небесах» – так говорила няня. И мне казалось, что я действительно слышала тогда пение ангелов. Я зорко всматривалась в синее небо и в мерцающие там звездочки, и детской мечте ясно и чисто представлялось великое событие прошедших веков.

В церкви необыкновенно светло и торжественно. Мы едва-едва протискиваемся вперед... Вон и бабушка с дедушкой. Вон и тети. Все улыбаются мне, ласкают, ставят удобнее, заботятся... Бабушка и дедушка такие нарядные, как никогда.

У дедушки надеты все ордена. Я про себя думаю, что «сегодня дедушка – царь, а бабушка – царица»...

Служба пасхальная и торжественна, и прекрасна, напевы молитв радостны.

Мне было так хорошо: бабушка с дедушкой и три тети то и дело тихонько спрашивают: не устала ли я, не тесно ли, не жарко ли... А кругом нас ходили, толкались, заглядывали в глаза ребятишки. Их почему-то особенно было много... Бедные, плохо одетые, худые... Это были дети бедноты, дети улицы... Они все пробирались в эту сторону церкви. Они знали, что здесь встретят сочувствие... Но не у всех, конечно. Тетя Саша недовольна и сердится.

– Папенькины мальчишки! Такие грубые невежи! Чего они тут толкаются? – шепчет она гневно и отстраняет от нас двух маленьких оборванцев... Но они, обогнув нас, смело пройдут мимо дедушки и, улыбаясь, заглядывают ему в лицо... Это «дедушкины мальчишки», его «босоногая команда», как он их называет... «Завтра они придут к нему “Христос воскрес» петь... Он их так любит, жалеет. Он подарит им яички и денег... Станет просить для них у бабушки кусочки кулича... А тетя Саша их не любит, бранит, всегда сердится за то, что они на полах наследят да шумят», – все это с быстротой молнии мелькнуло у меня в голове...

Скоро в руках молящихся запылали свечи. Детям это так нравится. Только у дедушкиных мальчишек не было свечей... Но дедушка похлопал по плечу одного, другого... Вот к нему обернулось худенькое лицо с большими красивыми серыми глазами. Около этого мальчика, одетого в женскую кофту, жалась малютка-девочка. Лица их были болезненно печальны, и грустные большие глаза говорили о раннем горе. Дедушка дал им по тоненькой свечке... Когда засветились в их руках яркие огоньки, лица их тоже засияли огоньками радостной улыбки... Эта улыбка не сходила с лица малютки-девочки во всю светлую заутреню: то она смотрела на свою свечку, то обращала глаза на дедушку. Как мало надо детям для радости!

Трепетно билось сердце, когда за дверями запели «Христос воскрес!», и радостно откликнулось оно навстречу великому привету: «Воистину воскрес!» В церковь вошел с громким пением крестный ход. После мы все похристосовались. Отстояли заутреню и даже обедню.

* * *

Радостная, счастливая бегу я по двору, по лестнице. Няня открывает дверь.

– Христос воскрес, нянечка! Христос воскрес! – громко и восторженно крикнула я, бросаясь к своей дорогой старушке.

– Воистину воскрес, моя пташка дорогая, мое золотце! Вот мы с тобой, старый да малый, дождались великого праздничка. Ты уже теперь большая... У заутрени первый раз была.

Как светло, чисто, уютно, радостно у нас... Везде, везде горят огни, лампы.

– Люблю, когда светло, когда много горит огней, – говорила всегда мама, и в большие праздники у нас во всех уголках квартиры зажигались огни.

Мы все христосуемся, дарим друг другу яички, втайне друг от друга сделанные. У нас накрыт стол, а под салфетками у всех лежат яички. Такой обычай был у нас и у дедушки с бабушкой. У меня красное яичко с цветочками, у сестры Лиды желтенькое. Это сделал папа.

Мама купила деревянные красные, а няня сделала из воску и облепила их шелком и лентами... Мы так всему радуемся, так счастливы!

Я, беспрерывно сбиваясь, стараюсь рассказать няне все, что было в церкви – свои первые впечатления.

– Светло, весело... Батюшки такие золотые... А когда «Христос воскрес!», то все целоваться стали. И свечи зажгли... А у «дедушкиных мальчишек» не было свечей... Они там в церкви толкались... Тетя Саша очень на них сердилась... Дедушка им свечки дал.

Она обо всем меня спрашивает, целует, пробует голову: нет ли жару, не простудилась ли... И опять спрашивает и снова целует.

– Бабушка и дедушка сказали, чтобы завтра к ним... И тети тоже сказали. Много нам подарков приготовили... А дедушка нам стихи в альбом напишет...

– Всегда так водится, что первый день праздника у стариков проводят, – говорит серьезно няня.

Мы разговляемся тихо и весело. Всего пробуем понемножку...

Глаза уже застилает какой-то туман... И томно, и хорошо...

В окна пробивается весенний голубоватый рассвет... Так интересно и необычайно встречать это прекрасное раннее утро наступившего праздника... Сколько сладких мечтаний, ожиданий... Все так живо, весело, полно неизведанных радостей, как сама невинная жизнь дитяти. Жизнь чистая, мирная, счастливая скромными радостями и любовью окружающих... Жизнь тогда казалась непрерывным праздником, с гулом благодатным колоколов, с надеждой на что-то неожиданно-радостное, с верой во все хорошее и с любовью к самому источнику счастья и жизни – к Богу.

– Уже рассветает... Какое утро ясное!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.